

Марианна ИОНОВА

Марианна Ионова родилась в 1986 году в Москве. Окончила филологический факультет Университета Российской академии образования и факультет истории искусства РГГУ. Как прозаик и критик печаталась в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «НЛО» и др. Автор трех книг прозы. Живет в Москве.

МЕРКУРИЙ

Роман

Р. К., с любовью и благодарностью

1. Магистерий на курьих ножках

Мне приснилось, что я работаю в частной гинеколого-стоматологической клинике «Vagina Dentata», и вот ее директор, он же главврач, Рамадан Караевич Уматгиреев собрал всех на планерку для обсуждения текущих проблем и промежуточных результатов. Первым пунктом шли цифры, а именно необходимость поднять их в кратчайшие сроки без дополнительных вложений. Затем Уматгиреев отметил тех стоматологов, которые назначили своим пациентам УЗИ органов малого таза, и тех гинекологов, которые назначили своим пациентам КТ зубов. (Хотя сон только начался, откуда-то я уже знал, что в клинике поддерживается дух дружеского соревнования между стоматологами и гинекологами.) Обсуждалось также недавнее пополнение материальной базы: комплект смотровых кресел-трансформеров, набор расширителей и имплантов – все подержанное, зато немецкое. Под конец Уматгиреев напомнил, что академик Будберг, которого за пределами столицы многие считают фигурой легендарной и даже собирательной, а между тем, как прекрасно известно москвичам, тот не только существует, но и возглавляет Институт земной коры, так вот, академик Будберг является нынешним хранителем кадуцея, стало быть, понемногу все более насущно встает вопрос, кому он его передаст. Тут все начали перекидываться пылающими взорами, и я проснулся весь в поту.

Как советует Парацельс, чтобы постичь скрытое значение сна, я тихо лежал, оттягивая принятие пищи, но значение не открылось и через полчаса, а есть захотелось даже раньше. Быстро поджарив и еще быстрее проглотив яичницу, я позвонил маме и сестре, надеясь, что подойдет сестра, однако подошла мама, и сон пришлось рассказать ей.

«А главное, – сказала мама, – что ты ведь ни дня врачом не работал».

Лаура подытожила бы как-нибудь по-другому, но и мама на свой лад права, хотя я сам не назвал бы главным именно это. Я не пошел после пятого курса в ординатуру по уже выбранной специализации, а поступил в аспирантуру на факультет истории медицины. Я огорошил всех, а больше других профессора, читавшего у нас химию на первом курсе. Он еще уговаривал меня, из-за моих успехов по его предмету, перейти с лечебного дела на фармацию, но я расправил грудь и заявил, что мое дело – лечебное и только лечебное... Тот профессор присутствовал на моей защите – кандидатская называлась «Парацельсианская иатрохимия и спагирия в контексте герметической философии», – а после подошел и, пока другие жали мне руку, покачал головой и сказал: «Магистерий на курьих ножках».

Для того чтобы, отдав учебе шесть лет и почти блестяще сдав экзамены, на пороге ординатуры решить, что ты не врач, мало быть идиотом, мало потерять отца, мало древнеегипетских жрецов, алхимии, естественной магии и симпатической медицины. Не говоря об остальном, те исторические финтифлюшки, которые так украшают первый семестр первого курса и после первой сессии сдаются в утиль, я пронес через все шесть лет. Но для того, чтобы в последний момент решить, что ты не врач, надо прежде всего *понять*, что ты не врач. А помог мне в этом Парацельс.

В курсе истории медицины нам, разумеется, поведали о том, что Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Хохенхайм, прозванный Парацельсом, двинул вперед фармацию, расширив перечень применяемых лекарственных растений и первым начав использовать препараты на основе химических веществ, а также о том, что именно он описал профессиональные болезни горняков, додумался лечить недавно завезенный из-за океана и всех и вся косивший сифилис ртутью; что он отрицал галеновскую теорию четырех гуморов, заменив ее теорией трех принципов, прибавив к двум алхимическим принципам – сере и ртути – соль; что он лечил бедняков бесплатно и обновил врачебную этику; что с некоторой натяжкой его можно назвать отцом экспериментальной медицины... А еще он верил в то, что разные хвори посылаются разными планетами и врач должен соотносить лечение пациента с планетной конstellляцией, верил в русалок, леших и гномов и просто в колдовство. Но еще – в магию не как ворожбу, а как волю к вечному изменению, природу как великую магию, воображение как великую магию, которой и звезды подвластны, в душу как великую силу и в великий огонь, первичный огонь, *Elementum ignis* как мировую душу (о Гераклите я – лапоть, подобно большинству медиков, – слыхом не слыхивал) и этим внутри горящим огнем живет всякая вещь и внутри него обитает душа человеческая. В то, что душа человеческая – это Слово Божье, а человек – книга Божья, которая всю мудрость о мире содержит, но и мир есть книга о человеке, написанная буквами-вещами. В Великое Таинство, *Mysterium Magnum*, которая не Бог и не природа, не сила и не источник, не дух и не материя, но начало и основа всего. В Илиастр – единый первый элемент, от которого произошли четыре. В Архея – дух жизни, благодаря которому всякое сущее, будь то металл или человек, живет, и растет, и движется. В свет природы, который исходит через нее от Бога к человеку ради того, чтобы мир был познан. В то, что можно достичь бессмертия, в трансмутацию металлов и в то, что человек собой отражает Вселенную до полного соответствия, один и тот же дух жизни проникает все члены человека и все вещи мира, видимые и невидимые, и, стало быть, внутри самого человека находится и единственное подлинное лекарство, панацея – звездный бальзам, который и есть Жизнь, который и есть его собственное совершенство и первообраз...

Нет, не все из этого нам поведали в курсе истории медицины. И даже не все это так уж напрямую относится к Парацельсу. Не то чтобы я в какой-то момент перестал различать свое и его, как тронувшийся герой советского фильма по роману братьев Вайнеров. Если бы за тридцать лет сосуществования мы с Парацельсом немного перемешались, это было бы простительно, но я рано предвидел соблазн и поставил заслонку. Сходство дразнило, но отличия, сохранившие, возможно, мое психическое здоровье, всегда были тут как тут. Парацельс постоянно странствовал, собирая в народе домашние рецепты и лечебные методики, и любил бродяжничество, а я неохотно выезжаю из Москвы. Парацельс считал труд не проклятием, а чуть ли священным долгом человека, а я, положив руку на сердце, лентяй. Парацельс знал себе цену и даже завышал ее, а я запретил себе думать о том, правы или не правы те, кто считают меня никчемным. Наконец, Парацельс был от горшка два вершка, а я вечно пригибаюсь, и девять из десяти моих собеседников всегда где-то внизу.

И все-таки в тот день после лекций некоторая часть группы пошла домой, еще некоторая – пить пиво, а я поехал в РГБ и попросил принести мне все, что имеется по-русски о Парацельсе. Своего Парацельса я собирал как мозаику из разнокалиберных

кусочков – статьи в сборниках, упоминания на абзац, но так, между тем, прочитал «Алхимию как феномен средневековой культуры» Рабиновича и несколько работ Юнга. Самыми крупными «фрагментами» стали глава в книжке Александра Койре о немецких мистиках XVI века и очерк сподвижника Блаватской Франца Гартмана, у которого Парацельс оказывался посвященным восточными махатмами и вообще было много мусора. Причем мое разыскание то и дело выбрасывало побегов, а те в свою очередь двоились, и получалось дерево: от Парацельса как ствола я уходил по ветке гностицизма к патристике с одной стороны и античной философии с другой. Читал я, конечно, не оригинальные тексты, а научные рецепции – Карсавина и Лосева, например.

Как же я, лапоть, все это осиливал? Ну, лаптем я был относительным. Я еще в начальной школе открыл для себя мифы Древней Греции, потом к ней присоединился Древний Египет, затем был квантовый скачок к христианству, а путь от религии до философии извилист, но короток – в противоположность пути туда же от естествознания, прямому, но долгому.

От одного старичка, библиотечного завсегдатая, который, как я понял, был на короткой ноге с самим Якобом Бёме, я узнал, что в Зальцбурге, где скончался доктор Теофраст, находится штаб-квартира Международного общества Парацельса. Через посольство Австрии (середина 90-х, интернет в колыбели) я достал почтовый адрес и написал им – по-английски, – что, будучи студентом-медиком, хочу создать студенческий кружок почитателей Парацельса, а потому прошу выслать мне хотя бы несколько современных изданий его трудов и что готов оплатить рублями наложенный платеж. Все это были вранья. Не собирался я создавать никакого кружка, и денег на оплату бандероли из-за границы у меня не было. И только отослав письмо через то же посольство, я сообразил, что, если даже для сочинения письма в помощь моему школьному английскому понадобился словарь, то для чтения и осмысления трудов Парацельса... Книги пришли через месяц, и мне ничего не пришлось оплачивать – в сопроводительном письме сам председатель общества выражал мне благодарность за рвение о пышных всходах Парацельсова наследия на русской почве. Книги были не на латыни – уж латынь-то я одолел бы, а на немецком. Так, со второго курса, началась моя новая и тайная жизнь – началась стыдом за обман и грамматикой немецкого языка, в которую я ухитрился нырять даже на лекциях. Я едва не завалил сессию, но к концу учебного года уже мог разобрать со словарем несколько страниц присланного.

Тот библиотечный старичок попытался сманить меня в теософию, и позже, когда я уже был издателем, меня осаждали «астральщики», народ страшно прилипчивый, но каждому, начиная с того первого, я давал понять, что у них свой Парацельс, а меня – свой.

Я с детства пытался понять, что такое жизнь. И пошел в медицинский не только и даже не столько по семейной инерции, сколько потому, что врачу, как мне казалось, понять это легче. Я просчитался. Медицина знает порчу жизни, но не жизнь. Биология знает жизнь как органический процесс, то есть процесс в основе своей химический, но подчиненный некой цели. Какой же цели? Жить, то есть сохранять и преумножать организм как целостную форму. Получается замкнутый круг. Все, что отличает живое от неживого: питание, дыхание, развитие, – отличает весьма условно и нечетко. Живое активно, неживое пассивно. Живое всегда единично, оно всегда замкнуто-целостная форма, тогда как неживое – масса и множество. Но элементарные частицы, из которых состоит вся материя, «живая» и «неживая», ведут себя как организмы, более того – как некие деятели, субъекты: обмениваются энергией, движутся, рождаются и умирают. И все же эти «единицы» суть единицы мнимые, всего лишь этапы превращения энергии, которая и есть жизнь. Гераклитов огонь, как не я первый подметил, в современной естественной философии, которая ныне прозывается физикой, соответствует энергии, «живой силе». Она, огненная сила, и есть жизнь, а жизнь есть попросту единственная Сила.

Парацельс был одержим этой силой. Говоря о Первоматерии, Великом Таинстве, Илиастре, Архее, Звездах, бальзаме и мумии, он говорил о ней. Жизнь – это дух в природе, а по сути – безграничное и неустанное воображение. Так возникает бытие из небытия, нечто из ничего. Воображение – сила порождающая и трансформирующая. Воображение – Великое Таинство. Воображение – жизнь.

Нет ничего только материального и только духовного, но если Бог – Отец всего, то материя духовна и дух материален. Бог воплотился в мире и весь мир запечатлел в человеке. Человек – врач Вселенной. Из-за человека она больна, и человек должен ее исцелить. Христос излечивает и восстанавливает душу человека, а человек – душу мира. Поэтому каждый врач – алхимик: леча пациента, он лечит мир. «Сила воображения – великое орудие в медицине» (Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Хохенхайм, прозванный Парацельсом). И я понял кое-что: пациент, пройдя через руки врача, должен стать не таким, каким был до болезни, а лучше. И я понял: и я, и вся эта прорва, которая шесть лет слушает лекции по анатомии, физиологии, гистологии, биохимии, фармакологии, проходит практику, сдает экзамены, оканчивает наконец ординатуру и получает заветную лицензию, – все мы собираемся не лечить, а чинить. Не врачами мы будем, а починщиками. И, сколько бы ни учились, не выучимся главному, ибо главное все еще скрыто за второстепенным.

В Парацельсе важны не его фантазии о происхождении болезней и механизме действия препаратов; например, он верил в корреляцию между душой человека и душами звезд, но как? Поскольку все высшее идет изнутри наружу, то душа формирует тело и проявляется по средствам его, стало быть, звезды могут буквально заразить человеческий организм какой-нибудь хворью, напрямую, а не окольным путем через гороскоп. В этом весь Парацельс – в грандиозной интуиции, которая перемалывает самые завиральные выводы. Важно не то, чего он не знал, а не знал он почти ничего из того, что знает нынешний первокурсник мединститута, и даже из того, что знали его коллеги-современники, поскольку не признавал вскрытие. Важно то, к чему он подошел так близко, что стало совсем горячо, – некий принцип, не привязанный ни к самому доктору Бомбасту, ни к его эпохе. Принцип этот – смотреть на медицину как на Идею. Каждая наука – это Идея, причем с точки зрения каждой науки Идея единственная. Каждая наука описывает мироздание так, как если бы других подходов к нему не существовало. И у медицины есть свое слово, своя мысль о мироздании, свой взгляд на него. Короче говоря, благодаря Парацельсу я понял, что необходима философия медицины, точнее, метафизика медицины, она же метафизиология (в названии я до сих не пришел сам с собой к согласию). И что это, как говорится, дорога длиною в жизнь. Тогда я как раз начал преподавательскую карьеру и еще был уверен, что теперь-то стою на дрезине, которая доставит меня к цели раньше, чем жизнь закончится.

Увезла меня карьера недалеко. Преподавание оказалось очень нервной работой, в моем случае затруднявшейся еще и придирками руководства. Не исключая, что переживал с Парацельсом и собственной интерпретацией его учения в ущерб другим врачебным системам. Возможно, я немного уклонялся в философию медицины от ее истории, так или иначе, после первого семестра был вызван на ковер и за двадцать минут разговора трижды услышал слово «мракобесие», а трижды, как известно из сказок, – это предел. Нет, преподаванию было со мной не по пути, и прыгать надо, пока не разогнался. «Да не принадлежит другому тот, кто может принадлежать самому себе» (Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Хохенхайм, прозванный Парацельсом).

Создавать с нуля и в одиночку новый раздел философии или даже новую форму знания – все равно что создавать вручную континент, и требует уймы психических сил, и это единственная причина, почему я ни на одной работе дольше четырех лет не держался. Мама с Лаурой, конечно, придерживаются иного мнения. Они обе меня любят, даже, пожалуй, очень, но ставят невысоко. С другой стороны, в отличие от доктора Теофраста я и сам не превозношусь, а так жить гораздо легче.

*

Меня разбудила боль. Нет – боль прошивала сон, а разбудило меня отчаянье. Отчаянье от того, что прежде ночью никогда не болело, от того, что опять придется начинать сначала, от того, что ночью в своей кровати человек одинок как на необитаемом острове, а если ему жгуче больно, то этот остров – единственный посреди океана.

Боли с одной стороны лица, по траектории от уха к верхним зубам, появились вскоре после ковида. Мне поставили диагноз «невралгия тройничного нерва» и в течение двух лет прописывали НПВС, потом миорелаксанты, потом антиконвульсанты; приступы прекращались на месяц-другой, как-то раз даже на три месяца, и возвращались внезапно, стоило тронуть щеткой верхние зубы однажды утром или рассмеяться.

Я позвонила брату и сказала, что, похоже, момент настал и пусть он связывается со своим Васильевым.

Два года назад Леша как-то раз позвонил взбудораженный; он и вообще звонит лишь когда его что-то *проняло*, а пронимает его только очередное откровение очередного метафизиологического постулата, но тут брат был взбудоражен, как он сам, наверное, выразился бы, *сугубо*.

«Слыхала, что Вселенная расширяется с ускорением?»

Я молчала, даже не пытаюсь угадать, куда полетит Леша с этого трамплина.

«Так вот, враки! Она сжимается! Экспоненциально! И скоро мы будем сталкиваться лбами с людьми, которых не видели тридцать лет! Перехожу к сути: я тут давеча наполовину в стремлении тебе помочь, наполовину из абстрактного любопытства спросил Великий Оракул...»

«То есть запросил нейросеть...»

«...о твоём диагнозе, и кого же выдал мне Великий Оракул? Рому Васильева! Моего однокурсника! Мы с ним вечно рядом на лекциях садились, а теперь он высококласный нейрохирург, медицинское сообщество признает его «намба ван» именно в операциях на тройничном нерве, пациенты такие отзывы пишут, что это уже какое-то идолопоклонство... Нет, ну ты подумай! Рома Васильев – крупнейший специалист по тройничному нерву! Роман Триждывеличайший, ха-ха! Хоть завтра тебя к нему запишу – только чур пойдем вместе!»

«Зачем мне хирург?»

«Да просто для консультации, раз уж он такое светило. В двух частных клиниках сияет, не хухры».

Но тогда надо мной взял верх суеверный страх пополам с гордыней – не хотелось служить Лешиной наживкой для преуспевшего однокашника. Теперь я процитировала брату его самого двухлетней давности: «Просто для консультации».

В тот же вечер Леша перезвонил взбудораженный как никогда на моей памяти.

«Нет, ну в такие повороты уже не верится! Диккенс! Латиноамериканское «мыло» – помнишь, «Тропиканка» и все такое?..»

«Переходи к сути».

«К сути. В общем, Рома Васильев с этого года подвизается и у Черновицкого. Стало быть, уже в трех клиниках. Ну как есть Триждывеличайший!»

«А деньги?» – не спросила, а скорее констатировала я, но тут на Лешиной стороне случилось что-то вроде игрушечного конца света, и несколько секунд спустя я догадалась, что брат выронил телефон, причем, кажется, в воду.

С тех пор как я больше не пою, забыть на время о чем-либо, о чем надо забыть, помогают прогулки. Я посетила немало городов – большей частью городков, – и если пение не для себя, пение на публику всегда было тем, что хочется скорее проскочить, то городские улицы мне всегда хотелось растянуть, продлить, не только в пространстве, но и во времени. Я всего один раз была на море и не полюбила его, простор меня угнетает. Я

люблю лето в городе, деревья вдоль тихих улиц. Бесконечности не нужен простор, и вечности не нужна глубина. Достаточно улицы, фланкированной деревьями, и я вот уже иду по проходу, сделанному из зеленого сиянья, и я то ли пришла оттуда, куда он ведет, то ли он ведет меня туда, куда я иду. Я останавливаюсь и смотрю назад или вперед и вижу, как в беззвучье сияет зелень. То, на что можно, кажется, смотреть вечно, и есть сама вечность. Андрей Николаевич говорил, что человеку нужна вечность, но, наверное, я понимаю ее скромнее: вечность – это доброе слово и лекарство от боли, когда их нет.

Прогулка, как обычно, помогла, а войдя в прихожую, я услышала мамин голос, на поверхности сердитый, под ней же бодрый от счастья:

«Сколько раз я тебе говорила: не тащи пылесос за хобот!»

«На руках мне его, что ли, нести?»

У нас был Леша, а у мамы, соответственно, счастье. Вот они уже появились в прихожей паровозиком: Леша, пылесос, мама. Вместо приветствия брат наставил на меня указательный палец.

«Записал тебя – ровно через месяц идешь к Васильеву! И то повезло – менеджер сказала, к нему и по полгода добиваются».

«А деньги?» – повторила я.

«Какие деньги?! – вскинулась мама. – Леша ведь сотрудник Черновицкого!»

Секунду мы с братом молчали, передавая друг другу полномочие разбить мамин иллюзии, наконец Леша выдохнул.

«Черновицкого, а не клиники, то-то и оно. – И на мамину решимость возмущаться так замотал головой, что его давно не стриженные и почти не чесанные волосы пустились в пляс. – Ни-ни! Журнал – лавочка Черновицкого, а клиника – лавочка его нанимателя, де юре и де факто я не имею к ней ни малейшего отношения. И не надо меня так смотреть! – это маме, а следующее уже мне: – Не волнуйся – видно, настало время растрясти НЗ».

Крестная оставила нам в наследство квартиру, которая пригодилась брату дважды: первый раз – когда он женился, второй – когда у него начались перебои с работой, а издательство не окупалось. Квартиру крестной Леша продал, и вплоть до развода они с женой и дочкой снимали жилье, однако некий практичный знакомый тогда посоветовал открыть счет в банке и положить на него часть остатка. Это и стало нашим НЗ, хотя Леша признавался, что его не раз подмывало назначить очередной день своей жизни «черным», но всегда достаточно было вспомнить крестную.

*

Сестру называли Лаурой не потому, что родители обожали Петрарку. Ее назвали в честь нашей будущей крестной, а ту ребенком вместе с другими такими же военными сиротами вывезли из Испании, хотя к тому времени, когда мы ее узнали, испанский она почти забыла и веры была русской. Но лучше все по порядку.

Мы росли в семье врачей: отец – нарколог, мама – педиатр. Кажется, что у матери-педиатра дети должны или вовсе не болеть, или болеть постоянно. Но обычно в жизни бывает так, что там, где ждешь либо «да», либо «нет», между ними выскакивает что-то третье. Лет до восьми я был прямо-таки ненормально здоровым, но классе во втором начались странные обмороки. Я не просто по меньшей мере раз в день терял сознание, но минут на десять-пятнадцать становился как мертвый – так мне говорили. Для меня самого те минуты сгущались, нет, не до секунд, а в какой-то комок безвременья. Считается, что где нет времени нет и пространства, а значит не будет и тела, то бишь комка. И тем не менее безвременье было и длящимся, и протяженным, в общем интервальным, к тому же комкообразным – у Бога всего много.

Мама прогнала меня через строй своих коллег, от невролога до гастроэнтеролога, я обследовался всеми возможными в СССР первой половины 80-х способами, и они ничего не дали. Папа обмолвился бывшей пациентке, которая к тому времени стала считай

другом семьи. Она попала к нему алкоголичкой с десятилетним стажем, от которой отступились все, включая ее саму. Среди советских наркологов бытовало мнение, что женский алкоголизм неизлечим, но папа взялся – и победил. Вероятно, он был хорошим врачом, во всяком случае, дома мы его почти не видели, а когда видели, то не слышали – работе отец отдавал себя, как говорится, с потрохами, и я помню его вечернюю пустоту, когда он присутствовал, отсутствуя, и часто засыпал перед телевизором. Помню я и людей, мужчин в основном, которые иногда подходили к нему на улице, а некоторые появлялись у нас дома, чтобы поблагодарить и рассказать о своей новой жизни, но Лаура была особым случаем. Исцелившись, она создала собственную систему упражнений для тела и духа, так что, пока все советские граждане осваивали йогу, мама с папой практиковали упражнения по Лауриной методике. И вот, как только папа обмолвился, Лаура пришла впервые не к ним с мамой, а именно ко мне, и мы начали заниматься. Лауре было тогда столько же, сколько мне сейчас. Художник по тканям, она всю жизнь проработала на текстильной фабрике, откуда ее – знаю с маминых слов – дважды выгоняли за срыв сроков и дважды принимали обратно, а ткани ее дизайна несколько раз брали всесоюзные премии. Замужем она никогда не была. Лаура приходила ежедневно по утрам, мы занимались полчаса, затем я шел в школу, а она на службу. Вот уже сорок три года, как я начинаю день с тех упражнений – ну, если не ленюсь. Тогда я не ленился. Спустя пару месяца припадки стали случаться раз в неделю, потом не чаще раза в две недели, а к концу третьего класса прекратились. Через два года родилась моя сестра, и мама предложила, а отец согласился назвать ее Лаурой.

Что сестра заикается, стало ясно, когда она заговорила уже не словами только, а фразами. Теперь мне ясно, что мои обмороки и ее заикание одного корня и корень этот уходит в толщу отцовских генов, и пусть ни сам отец, ни его родня не страдали ничем подобным – след ведет туда, я просто знаю. Лаура-старшая попыталась было применить к сестре свои упражнения, но те вдруг дали обратный эффект: Лаура-младшая отключилась после первого же занятия, на том эксперимент и закончился. Тогда Лаура-старшая надоумила младшую не говорить, а петь, и той так понравилось, что перед поступлением в первый класс пришлось переводить ее на речитатив. А вскоре открылось, что у сестры и слух, и неплохой голос. Правда, от заикания она так и не избавилась, но теперь и ей, и всем нам стало как-то легче. Однажды Лаура – тогда уже не младшая, а единственная – сказала, что для заики говорить означает каждый раз переживать свою бессмысленность. Когда она поет, то переживает свою осмысленность.

Если отца мы дома почти не видели, то маму в сравнении с ним видели, конечно, часто, но в сравнении с чужими мамами все-таки редко. Сестру воспитывала крестная, к ее рождению как раз вышедшая на пенсию, а когда подрос, то, в меру сил, и я. Однако я забежал вперед: о *крестной* до поры до времени не было и речи.

Мне было пятнадцать, когда я понял, что хочу креститься. Как раз распался СССР, и наши неверующие родители увидели в моем желании только дань переменам, а то и моде. Лаура испросила у папы для меня разрешения, и, помню, он махнул рукой: «Делайте что хотите!», а мама, та вообще во всем шла Лауре навстречу. Так Лаура-старшая стала для меня крестной, хотя, как вскоре выяснилось, крестной она на тот момент уже была, но все по порядку.

Пятнадцатилетние в норме не склонны к мистицизму, и я был заурядным пятнадцатилетним, читавшим не Мейстера Экхарта, а Рэя Брэдли. Сознаться в таком обидно и неловко, но никаких откровений или хотя бы переживаний, выходящих за грань посюстороннего, я не получил. Я просто чувствовал, насколько важно то, что сейчас происходит, насколько обязывает меня стать лучше, полезнее, *осмысленнее*, насколько влияет на каждый мой дальнейший шаг как отныне единственное его условие (такими словами я, конечно, а думал, скорее всего, вообще без слов). Последствия крещения для всей предстоящей мне жизни невозможно переоценить, так я думал бессловесным нутром. Бессловесное нутро, а вовсе не крещение гарантировало мне последствия, а оно еще тот

гарант. Ничто не удержит от ошибок, вытекающих из других ошибок, самую же первую к тому времени уже не исправишь. Как сказала крестная, если человек себя губит, то что Бог может сделать? Но я снова забежал вперед.

Для родителей же мое крещение было чем-то имеющим минимум последствий, хороших или дурных, и они меня в тот день даже поздравили. С сестрой, я догадывался, все пройдет не так гладко, однако сказал Лауре-старшей, теперь крестной, что непременно надо крестить и Лауру-младшую. Крестная посмотрела на меня и пристально, и рассеянно.

«Помнишь, летом я взяла вас на день к своим знакомым в деревню? Там еще были двое мальчиков примерно твоего возраста, вы с ними и с их отцом плавали куда-то на лодке...»

«На остров, где живут кабаны! Еще бы не помнить! Кабанов мы не застали, только следы их видели».

«Ну так вот, пока вы плавали к кабанам, дедушка тех мальчиков – священник – окрестил твою сестренку. Ей дали имя Мария – как и мне. Принеси-ка стул...»

Лаура попросила принести стул и поставить его возле книжного шкафа, что я сделал. Минуту, пока она влезала на стул, тянулась к верхней полке, где стояли иконы, и шарила рукой где-то за ними, я видел лес по берегам реки, лицо отца тех мальчиков, слышал усыпительное тарахтенье моторки, которая шла тихим ходом, чтобы не спугнуть кабанов, но значит, все-таки спугнула...

«Вот, – Лаура протянула мне что-то на ладони. – Может, твоя мама теперь не будет возражать, чтобы Лаурочка его носила».

Это было крестик на цепочке. Я вернулся с летней реки и вдруг осознал всю меру своего разочарования: я-то думал сыграть в жизни сестры выдающуюся роль, а выдающееся, оказывается, давно свершилось и без меня. А мама действительно не стала возражать и сама надела на сестру цепочку с крестиком, чтобы сделать приятное Лауре.

Думаю, родители никогда толком не понимали, что она за человек, и то, чего не понимали, списывали на испанскую инаковость. Взять хотя бы ее веру. Однажды я спросил Лауру, когда она поняла, что Бог есть, и она ответила, что всегда знала. Думаю, «всегда» означало «еще с Испании», которую она покинула трехлетней и едва помнила. Там ее мать или бабушка рассказала ей про Бога, но то было почти до рождения, до начала времени. И когда в университете Лаура подружилась с девушкой, которая оказалась верующей и от которой наша будущая крестная впервые услышала имя «Христос», она вспомнила свое «до-рождения», потому что оттуда все вдруг отозвалось. Вместе с подругой она тайно ходили в храм, где Лауру позже крестили по православному обряду. С верой было связано ее решение никогда не выходить замуж, но почему вера десять лет не мешала ей спиваться, вот что не укладывалось у меня в мозгу, которому тогда еще лишь предстояло испытать на себе беспрекословность своего же собственного позыва. «Почему ты стала пить?» – спросил я ее, когда мне было уже лет двадцать и незадолго до ее смерти.

А почему стал пить я, сын отца, загнавшего сердце лечением алкоголиков?

Мне было за тридцать, у нас с женой недавно родилась Аня, я только что бросил преподавание и пылал, как факел, прозревая материк, который насыплю по горсточке и который, парадоксальным образом, уже есть и манит на горизонте. И тут что-то случилось. Как если бы у олимпийского чемпиона по фигурному катанию на льду разъехались ноги или чемпион по плаванию вдруг топором пошел ко дну. Я был чемпионом по смыслу жизни. Я поймал его, как жука в кулак, и прислушивался к его приятному гудению. И вдруг гудение оборвалось. И я сам оборвался, а когда обнаружил себя как будто на том же месте, то оказалось, что прошел год и я, словно фигурка в тире, двигаюсь по короткому маршруту от дома до «нашего философского магазина» – «Красного и Белого» – и обратно.

Нет ничего условнее и даже глупее «вдруг». Из вуза, где преподавал, я ушел не то чтобы с гордо поднятой головой. Я понимал, что и образовательное, и научное сообщества всегда будут меня выплевывать и что, ни странно, мне совсем не все равно, что при этом они будут еще и кривиться. Я понимал, что у меня нет единомышленников. С теми, кто заявлял о своей любви к Парацельсу, можно было обсуждать алхимию, герметизм и оккультизм, но совершенно невозможно было говорить о человеке. Не о Первочеловеке, не об Адаме Кадмоне, а о человеке с маленькой буквы, о людях вроде них самих, которые болеют и бегают по поликлиникам. Люди для них, казалось, не существовали. Существовали духи и демоны, планеты и астральные тела, даже гомункулы, но не люди. И у Парацельса их привлекала только шелуха – телепатия-некромантия, – ее они могли мусолить бесконечно, а слова, например, «терапия», «множественные поражения», «спинномозговая жидкость», «кишечник» заставляли их сразу съеживаться, хотя о кишечнике Парацельс писал не меньше, чем о суккубах.

Я понимал, что моей жене, моей сестре, тем немногим друзьям, которыми я обзавелся в институте, которые как-то втиснулись между моей официальной учебой, моим немецким, историей, философией, богословием и моей круто замешанной внутренней жизнью, – что им неинтересно то, чем я живу теперь не только внутри, но и снаружи. Я понимал, что был, есть и буду один. И если у меня не получится, то плечо мне никто не подставит. А ведь может и не получиться. Вот на этом «не получиться» я и оборвался и пришел в себя уже плавно едущим по линии квартира – магазин.

Думаю, Лаура тоже однажды оборвалась на своем «не получиться» или даже «не получиться». Но в ответ на мой вопрос, почему, она пожала плечами:

«Наверное, наследственность... Мы собирались студенческой компанией, всегда было вино, но другие останавливались, а я не могла».

Вот так просто. Испания превратилась для Лауры в источник всего, что не имело видимого источника.

«А ты молилась?»

«Молилась».

«И?»

«Если человек себя губит, то что Бог может сделать?»

Мне встречались православные, которые на мой выдающий неблагочестивую пытливость вопрос ничтоже сумняшеся ответили бы: «Господь для того и попустил – или даже *послал* – Лауре алкоголизм, чтобы состоялась встреча с твоим отцом и чтобы таким образом твой отец получил возможность сделать доброе дело, а Лаура в свою очередь тоже получила бы возможность сделать доброе дело, отблагодарив твоего отца твоим выздоровлением». Объяснение попрочнее Лауриного, да вот только сама Лаура категорически отрицала «промысел» в таком смысле. Лет за пять до того разговора был другой: я спросил ее, в чем секрет ее упражнений, каким образом они меня вылечили.

«Не упражнения тебя вылечили. Я молилась о твоём исцелении, и Бог внял моей молитве, потому что знал, *что* для меня тогда было важнее всего».

«И что для тебя тогда было важнее всего?» – спросил я как загипнотизированный.

«Отблагодарить твоего отца. Несколько лет я молилась о том, чтобы Бог дал мне такую возможность, и когда узнала о вашей горе, сразу поняла: вот. Выздоровление за выздоровление, только так уравнилась бы чаша весов».

Помню, как заела меня эта «чаша весов», но и сегодня она заедает меня не меньше.

«Как-то уж больно механистично. Может, и припадки Бог на меня наслал по твоим молитвам, чтобы было от чего исцелять?»

«Не смей так говорить!» – полыхнул испанский темперамент, и я даже отскочил, что сразу же скомпенсировал:

«А что, меня шас громом поразит?»

Лучше бы громом: по росту крестная доставала мне до груди, так что, кинь она в меня чем-нибудь, удар пришелся бы совсем, совсем не по голове.

«Бог болезни не насылает. — Она помолчала, уже не гневная. — Бог не разрушает, а только восстанавливает».

Если соединить оба разговора, бросится в глаза нестыковка: Бог внял Лауриной молитве, когда дело касалось моих припадков, но много лет не внимал, когда дело касалось ее алкоголизма. В первом случае мальчика губила болезнь, во втором женщина губила себя сама. С этим не согласится ни один врач и ни один человек, прошедший через зависимость и знающий, что она есть болезнь в квадрате и если человек себя губит, то он уже болен. Нет, Лаурино оправдание Бога никуда не годилось. И я, третьекурсник мединститута, не принял его, а девятиклассник, которым я был за пять лет до того, спросил с полным основанием:

«Откуда же болезни?»

Чуть позже в тот год я крестился, признав таким образом, что Бог есть, что Христос — Бог и что Он — Врач. Если вторым и третьим пунктами я был обязан Евангелию, то первый пришел откуда-то, где для Лауры располагалась Испания, а для меня — даже не знаю или вот уж действительно Бог весть что. Древний Египет моего до-рождения? Так или иначе, эти три пункта стали моим кредо. Оно представлялось мне в форме кольца, которое я вокруг себя очертил и за которым ждут ответов все пока не отвеченные вопросы, и они их дождутся, в этой жизни или в другой.

Ходить в храм я так и не начал, чем, наверное, ранил крестную, и никогда не молился.

Уже тогда, в пятнадцать, я знал, что стану врачом. И потому, что врачи лучше, как я был уверен, осведомлены о существе жизни, и потому, что именно на эту стезю намекал третий пункт, и потому, наконец, что никаких собственных талантов у меня не было, а родители-медики были.

Откуда же болезни, если Бог только восстанавливает, но не разрушает? Кто же или что разрушает человека и всю материю?

Я сегодняшний ответил бы себе тогдашнему, что материя не разрушается, но равновесное состояние Космоса *нарушается*. Чаша весов. Сбой в одном организме — это сбой в единой системе. Сложная система неустойчива по определению, но, повреждаясь в одной своей точке, она получает шанс обновиться вся целиком. Смысл восстановления человеческого здоровья в восстановлении поврежденного Космоса как в непрерывном его творении. Здесь вся метафизика медицины, она же метафизиология. (Когда я начну писать книгу, надо будет все-таки определиться с названием.) Вот так просто.

Но что же ответила мне крестная?

«Откуда же болезни?»

«Вот станешь врачом и узнаешь»

Я тогда почувствовал себя намного умнее ее и, наверное, снисходительно улыбнулся. Многие люди и старше пятнадцати лет считает мерой ума способность задавать вопросы, остающиеся без ответов.

В исцеление по Лауриной молитве я и верил, и не верил, пока не прочел у Парацельса, что человек больше неба и земли, потому что ему даны вера и воображение. Человек — экстракт вселенной, и его душа совечна небесам. А значит, можно сказать, что меня исцелила вера крестной, и вместе с тем моя нынешняя вера в то, что тогда вера крестной исцелила меня. Потому «прошлое» и «будущее» суть всего лишь удобные понятия, но не реальность, и если одно событие достигает другого на мировой линии с опозданием, мы зовем это прошлым, а если с опережением — мы зовем это будущим. И точно так же можно сказать, что меня исцелили воображение крестной и Воображение, которое Творец и Создатель.

«...Если бы мы, люди, правильно познали нашу душу, то не было бы для нас на сей земле ничего невозможного» (Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Хохенхайм, прозванный Парацельсом).

*

Вот уже четыре года я жил в квартире соседей, уехавших за рубеж на неопределенный срок и с неопределенными видами, – жил как бы сторожем, котом и фикусом, который сам себя кормит и поливает. Как хозяева из своего иномирья платили за квартиру, ума не приложу, но и не его это дело.

Когда я узнал, что через Лаурин тройничный нерв и Черновицкого оказался вновь сопряженным с бывшим товарищем, которого не видел тридцать лет, то ощутил потребность выпустить квант энергии. И вспомнил, что с самого вселения, сколько ни давал себе зарок, так до сих пор и не вымыл пол *везде*. Повременить со звонком сестре я тоже не мог – так меня распирало от очередного доказательства неисповедимости всего и вся. Телефон, который вначале казался надежно зафиксированным между ухом и плечом, пока руки предоставлены швабре, чуть не нашел свой конец в ведре с водой, но такой уж был день чудес, что и телефон Бог помиловал.

Я лег на живот, чтобы продвинуть швабру подальше под кровать. Прямоугольная бумажка вдалеке у плинтуса что-то мне напомнила, я зацепил ее и вытащил – привет из хозяйского прошлого – банкноту в сто долларов. Установить траекторию движения, которая привела бы сто долларов под кровать, не получалось, потому я решил считать, что деньги утащила к себе в норку мышка. Я изъяс у мышки нетрудовые доходы, убедился, что купюра нового образца, на следующий же день поменял ее и сказал себе, что до конца недели я кум королю.

Выйдя из банка, я спустился в подземный переход. Мой взгляд машинально пробежал торговые ряды: необъятные ночнушки, фарфоровые изделия на подарки тем, кого ненавидишь, расписанные цветами кастрюли, живые цветы пластиковых оттенков, иконы, салон связи...

И тут я увидел его. Вернее, их, болтавшихся связкой в салоне связи, но для меня он был один-единственный, потому что глядел на меня.

У него были уши торчком, красный носик-кнопочка, анимешные вертикальные глаза и улыбка словно пилу выгнули дугой. Сразу видно, себе на уме.

«Извините, а что это?» – спросил я девушку за стеклом на высоком табурете, на каких почему-то всегда сидят работники салонов связи, ну прямо сивиллы на треножнике.

«Это? – Она отвлеклась от своей связи, то бишь от черной плашки. – Да лабубу».

«Де ла Бубу?»

«Лабубу. – Закатила глаза. – Ну-у, модно шас. Из Китая».

«Модно из Китая... Хм, тоже своего рода информация».

«Эти-то не. Эти наши, паленые. Были бы из Китая, стоили бы шесть косарей штука, а так по шестьсот рублей»

«А... – я замялся перед тем, как задать ключевой вопрос, – кто они вообще? – Девушка моргнула. – Ну, например, Хрюша – поросенок, Кузя – домовенок, Чебурашка – неизвестный науке зверь...»

«Поняла. Говорят, что эльфы».

«Отлично. Беру».

«Вам какого?»

Она завертела карусель, увозя от меня *моего*.

«Стойте, стойте! Коричневого!»

...Я подкидывал его на ходу обеими руками и ни разу не уронил, хотя сроду не практиковался в жонглировании. Теперь ты со мной, а я с тобой, говорил я мысленно. Лабубу, сынок мой. Пусть меня считают идиотом. Что они видят? Пятидесятилетний детина идет и играет. А что вижу я? Люди идут в туннеле, торопясь поскорее его пройти.

Через неделю я снова заглянул под кровать, потыкал шваброй, повозил рукой, и мне вновь повезло на привет из хозяйского прошлого, правда, теперь в виде очень давно,

судя по ставшему порошкообразным содержимому, использованного презерватива. А что, сказал я себе, ты так и собирався лазать под кровать за долларами?

*

Академик Будберг с кадуцеем все-таки беспокоил меня. Что касается Рамадана Караевича Уматгиреева, то он явно не существовал уже хотя бы потому, что Уматгиреем Рамадановичем Караевым зовут человека, у которого я забираю остростки для печатей и которому же отдаю готовые изделия. О клинике «Vagina Dentata» и вовсе промолчу, а вот в отношении академика Будберга у меня почему-то не было полной уверенности. Я спросил Великий Оракул об Институте земной коры и убедился, что оно не существует, однако это значило только, что сон подоврал в деталях. Оракул выбросил мне пару Будбергов, но ни один, ни другой явно не был *тем*.

Странно: академик Будберг представлялся мне точь-в-точь мой начальник Михаил Львович Черновицкий. На десять лет меня старше, к.м.н. и, как и я, ни дня не работал врачом. То не крупно начальствовал по здравоохранению, то делал бизнес на синтетических сахарозаменителях, а теперь управлял крупной московской частной клиникой. Поскольку владелец с самого ее основания перебрался куда-то далече, Черновицкий устроил жену своим замом и замкнул на нее всю рутину, сам же, как человек неумный, издает ежеквартальный журнал «Гомеопатия», гомеопатическим тиражом тысяча экземпляров, где я и подвизаюсь. В гомеопатию Черновицкий не верит, я тоже: он – потому что, по моему ощущению, вообще ни во что не верит кроме золотого тельца, я – потому что слишком хорошо знаю, откуда растут у нее ноги. Порога клиники я ни разу не переступал (зачем?) и с начальством общался всего несколько раз по зуму, живьем же Черновицкий предо мною ни разу не являлся (опять-таки зачем?). Я числюсь главным редактором для прикрытия, разделяет и властвует в журнале сам Черновицкий, но взял он меня на должность благодаря моему немалому, хотя и горькому опыту. Лет десять назад запустил маленькое издательство, оно называлось «Парагранум» – в честь книги Парацельса Liber Paragranum, сам был и спонсором, и коммерческим директором, и главным/единственным редактором, и вербовщиком-вдохновителем авторов. «Парагранум» успело выпустить девять книжек за пять лет, а потом прогорело, ну или я прогорел, но не отчаялся – сайт издательства стал просто одноименным сайтом. Не прошло и года, как он тихо захирел. Те авторы, с которыми хотелось иметь дело мне, от меня шарахались, а от нью-эйджистов, гомеопатов и просто мудаков отбивался я сам. Перед самой кончиной сайта меня и нашел Черновицкий.

Это было четыре года назад, бывшая жена как раз переехала с нашей дочерью в Латвию. Выражаясь казенным языком, от которого всегда кажется, что проблема уже наполовину рассосалась, мы с бывшей женой *не поддерживаем отношений*. Таково было ее условие. Мы расстались не в ссоре, но и не дружески.

Жена и дочь ушли не когда я пил. Не когда я, бросив пить, вновь почувствовал, что могу кое-что предложить городу и миру и с головой исчез в издательской деятельности, которая затребовала столько времени и финансов, сколько у меня, казалось, быть не может, и все же время и финансы откуда-то брались, словно я махал волшебной палочкой, только та палочка была на электроприводе и питалась от семьи. Они ушли не когда мое издательство прогорело и не когда я забросил уже еле трепыхавшийся сайт. Они ушли позже. Я говорю «они», потому что Ане было как-никак двенадцать. В одну из наших встреч, пока шел развод, она сказала: «Я не понимаю, за что мне тебя любить». А жена сказала: «На мне вины больше. Я должна была сразу увидеть, что насчет семьи – это не к тебе».

Когда Аня была малышка, от трех до шести, мы играли в игру, которая всем, кроме нас, а больше всего моей жене казалась глупой: Аня сидит на стуле, а я рассеянно подхожу и как бы не видя ее усаживаюсь на тот же стул, то есть ей на колени. Трюк был в

том, что садился я на «воздух» – между мной и Аней оставался зазор около сантиметра, но со стороны казалось, будто я сейчас и впрямь раздавлю ребенка, и непосвященный человек ужасался. Так вот, я понарошку сажусь на Аню, она притворно орет: «А-а-а!», я тоже ору: «А-а-а!», вскакиваю, оборачиваюсь и выпаливаю, тараща глаза: «Прости, я тебя не заметил!..» Минутный гиньоль, в который со временем превратилась наша игра, изначально был обращен к единственному зрителю – моей жене и задуман как своего рода иносказание, притча «о плохом отце», для которого дочь буквально не существует. Аня существовала для меня еще как, но в том-то и суть, что *для меня* обе они, жена и дочь, существовали больше своими звездными, чем материальными телами. Потому, где бы ни находились телесно, рядом или не рядом, они и присутствовали во всем, что казалось мне важным и нужным, их нужность мне сливалась с той нужностью, я думал как бы ради них, пусть даже не о них, верил, что они это ощущают. Но они не ощущали – потому что нет никаких звездных тел.

*

Жить под прицелом боли, радуясь, когда ее нет, и зная, что она все равно будет, очень утомительно. Пока мама с братом разговаривали на кухне, я прилегла у себя, но вскоре вошел Леша и сел на пол возле кровати – так же как в моем детстве, чтобы почитать вслух или поболтать, когда после острой фазы ОРВИ время возвращалось с удвоенной длиннотой, называвшейся постельным режимом.

«Сейчас буду тебя лечить! Облегчим Роме работу!»

Откуда-то из-за спины, как новую книжку тридцать лет назад, брат достал Лабубу с коричневой шерсткой.

«Это твой ассистент?»

«Это мой гений. У Сократа же был гений, а это – мой!»

«Каков Сократ, таков и гений».

«Ох и ядовитая женщина! Впрочем, по слову Парацельса, все есть яд и все есть лекарство, дело только в дозе».

«Мне как старой деве положено прыскать ядом».

«Не скажи. Я вот заметил, что давно разведенные, вдовы и старые девы добрее замужних».

«Значит, наличие мужчины портит женский характер».

«Любое наличие портит любой характер».

Пусть к «детям цветов» брат и не ближе, чем я или мама, те, кто знают Лешу через меня, всегда сначала принимали его за перезревшее и побрившееся «дитя цветов». Иногда мне хочется взять несколько клише и отштамповать на них его формулы отношения к денежно-имущественным ценностям. «Лучше за рубль лежать, чем три бежать». «Да не оскудеет рука дающего, и да не отсохнет рука берущего» (но это прежде и то для красного словца: берущим Леша не был даже те несколько лет, когда регулярно посещал «наш философский магазин» – «Красное и Белое»). «Алхимик – это тот, у кого в кармане вошь на *аркане*».

Мы изготавливаем печати для одного ИП – своеобразная граверная мастерская на дому, точнее, на два дома. Ублюдочная работа, как выражается брат, но возможность выживать для него, когда Черновицкий ему не платит, и для меня – с тех пор, как я потеряла голос и больше не даю уроков. Все свои работы Леша делит на очень нервные и ублюдочные. К первым относятся те, что приносят либо радость, либо умеренное удовлетворение, ко вторым те, что позволяют выживать. Ублюдочные могут оплачиваться как неплохо (например, перевод с немецкого сигнатур или медицинских статей), так и скверно, например, выгул собак, но единственное, что от них требуется, – обеспечивать базу для *очень нервных*, вроде книгоиздания или неудачной попытки создать в Москве филиал зальцбургского Общества Парацельса.

«Лабубу в данном случае – идеальная мумия. Знаешь, что Парацельс называл мумией? Оболочку жизненного духа – архей. Мумия может забирать болезнь».

Парацельс, архей, мумия, эликсир, Протопласт, Меркурий, а теперь еще и Лабубу. За годы, что я слышу от Леша эти слова, я так и не разобралась, насколько серьезна игра, которую он однажды затеял с самим собой и зачем она ему, но спросить напрямую значит все испортить.

Когда я почувствовала мех Лабубу на щеке, боль как раз подступала. Внезапная боль приготавливается, как прыжок хищника. Я невольно закрыла глаза и улыбнулась. Улыбнулась и боли, и брату, который знает лишь один способ унять боль – превратить в игру.

«Знаешь, преподаватели нас с ним иногда путали, – Леша смотрел куда-то мимо меня и «мумий», – с Ромой, я имею в виду. Считалось, что мы похожи, оба мордастые... только у него нос римский... а у меня тогда, получается, какой, алексейский?.. Гляди: с этой стороны вроде вздернутый, а с этой прямой – не поймешь! – Леша повертел головой туда-сюда. – Господи, мы не виделись с выпуска, четверть века...»

2. Ученики в Саисе.

За месяц боль превратилась в машину, мощную, надежную и бесшумную, которая сама включалась и сама отключалась, словно какая-нибудь система очистки воздуха.

Но теперь осталось совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, мы уже у цели. Вот сейчас увидим Васильева, и сразу полегчает. Брат повторял мне это в метро, на подступах к клинике и наконец внутри, среди лавандовых стен, белоснежных стоек администрации и морозно-матовых стеклянных дверей, которые не разъезжались, а распахивались навстречу.

Может, Лешино заклинание, а может, все это вместе – в том числе приглушенный Брайан Ферри из динамиков под потолком – подействовало, и я даже смогла оценить внешний вид брата.

«Мог бы причесаться».

«Я причесывался, но ты же знаешь: мои волосы так растут, что придать им определенное направление совершенно невозможно».

«И хотя бы почистить *эти* ботинки, раз других нет».

«Милая моя, какой смысл чистить ботинки, которые просят каши? А наипаче какой смысл вообще чистить обувь, если само ее назначение – топтать землю, то есть персть и прах?»

Когда Леша восходит в высокий штиль, я уже знаю, что он нервничает.

«И гения своего мог бы оставить дома».

Остроухая головка торчала из кармана Лешиних тренировочных штанов.

«Боже упаси – на такое дело да без гения!»

На схеме отделений возле лифта значился кафетерий – совместно с косметологией, массажем и спа-процедурами ему был отведен последний, седьмой этаж. Мы пришли почти на час раньше, и Леша предложил выпить кофе. В кафетерии все почему-то было белое и звучал тот же «классический поп», но самую малость громче. Всю стену занимало панорамное окно, а потолок над ним был скошен.

«Душновато», – заметил Леша.

«Мансарда».

«Ну и ценники... А впрочем, днем раньше, днем позже на паперть – какая разница? Не будет жаться! Я приглашаю!»

Усадив меня за столик, Леша пошел делать заказ, а вернулся с веселым недоумением глядя в телефон.

«Чудеса в решете! Черновицкий прислал смску: “Целую!” Что же ответить? “И целуй меня везде – сорок девять мне уже”¹»

«Разве не пятьдесят один?»

«Для рифмы и для поцелуев сорок девять».

«Он просто ошибся. Думал, что посылает жене или дочке».

«Не знаю, не знаю. Зарплату он мне за полгода задолжал. Может, перешел на поцелуи? Как думаешь, будет очень невежливо, если я напишу: “Киш ми тохес”? Пусть видит, что у этого гоя кукуха поехала от безденежья».

«Леша, не смей!»

«Ладно, ограничимся корректным “Дорогой Михаил Львович, и я вас тоже!”»
Впрочем, наверное, действительно посылал жене, дочке или своей конкубине...»

«Леша!..»

«А что? Она у него есть, а если это известно даже мне, то значит и всем. Ой, кажется, наши капучинки поспели!»

Леша вернулся с чашкой в каждой руке и с телефоном между щекой и ухом, слегка пританцовывая, – хорошо, что его не сопровождало ведро.

«Михаил Львович, дорогой, какая радость вас слышать! Ну да, бывает. Сестра так и предположила: что вы ошиблись, посылали, наверное, жене или, там, дочке, а я: не знаю, не знаю, я ведь Михал Львовичу считай как родной племянник! Мы с сестрой тут... э-э-э... в кафе, шикую по случаю понедельника, спускаем наши миллионы...»

Меня до сих пор поражает молниеносность, с которой брат меняет регистры. В глазах у него при этом вспыхивает что-то между озорством и безумием.

«...От юриста? Да что вы говорите – судиться?!.. *Что* ваша супруга?.. Ах, Господи, какой кошмар. Ох, какой ужас. Надеюсь, ей напортачили не в?.. Ну, разумеется! И сколько это тянулось? Два года?! Послушайте, у человека как-никак одна голова и в ней тридцать два зуба – а впрочем, если стоит задача развести на бабло, зубов становится шестьдесят четыре, ха-ха-ха! Разумеется, к вашей вотчине, Михал Львович, это не относится. А сестра вот тоже недавно зубы протезировала. Дорого-то дорого, а куда ж ей, бедной, было деваться, если она все свои потеряла? Ну как-как? По пять ложек сахара в чай, да конфетку на заедку, а вы, Михал Львович, знаете, что такое сахар, вы на сахаре, можно сказать, пуд соли съели, ха-ха-ха! В общем, наскребли мы ей на два передних, а там уж как есть. И вот поди ты, прямо Диккенс – нарвались за свои гроши на всеотца всех стоматологов-имплантологов-протезистов! А надо сказать, моя сестра женщина редкостной красоты, даже без зубов. И, конечно, стоило этому выдающемуся, как говорили древние египтяне, мастеру зубного ряда ее узреть, как он понял, что быстро он ее не отпустит, и вышла она от него в итоге Голливуда полон рот. Кто-то, конечно, скажет, что ее просто развели на бабло: пришлось нам, ясное дело, продать корову, то есть квартиру в Капотне от бабушки. Но мы-то с вами, Михал Львович, как старые романтики!.. Да-да, и алхимики! Как старые романтики и алхимики не можем допустить, что мир *настолько* предался золотому тельцу. *Aurum nostrum non est aurum vulgi!* Нет-нет, я убежден, здесь больша-а-ая стрела Купидона застряла...»

«Здесь большая стрела Купидона застряла». Я слышала этот Лешин вердикт по поводу нескольких очень разных мужчин, которые вдруг возникали на горизонте, а потом оказывались его частью, никогда не становясь ближе. И некоторые из них были воображаемыми.

«Контакты всеотца?.. М-м, фамилию запомнил, а вот клиника, где он подвизается, ну как же – «Vagina Dentata»! Да-да, вы правильно расслышали. Руководит ею некто Уматгиреев Гарун Рашидович или вроде того».

Мне показалось, будто щелкнул тумблер. Боль включилась, пошла по нарастающей, все вокруг стало белым – нет, оно и было белым, но в белом растворился

¹ В оригинале (песня группы «Руки вверх») «...восемнадцать мне уже».

вид на крыши за окном, прилавок с мальчиком-бариста, брат, моя пустая чашка и его нетронутая. И я сама со всем, что я знаю о себе. Белизна заглотнула конец Лешиного разговора с Черновицким. Боль достигла пика и повернула назад.

«Тебе привет от Черновицкого! – Леша схватился на свой остывший капучино и стал втягивать его быстрыми атаками. – Прикинь, они с женой только что от юриста, подали в суд на какую-то навороченную стоматологию: мадам Черновицкая выложила не ошибусь, если скажу, что порядка десяти зарплат среднего россиянина за “Голливуд”, а вместо “вуда” получила одни пеньки. Ха, знал бы старик, что мы у него, можно сказать, под самым!..»

«Что ты нес? Даже Лабубу покраснел!»

«Надо, надо, милая моя, иногда быть придворным шутом. С такими, как Черновицкий, если хочешь что-то получить, иначе нельзя».

«Зачем наплел про выдуманную клинику? Ты же обманул человека!»

«Да Черновицкий не примет от меня даже акции “Майкрософт”, не то что добрый совет! И уверяю тебя, он мне ни на йоту не поверил»

Лешин кодекс чести похож на кубик Рубика – порядок спрятан в беспорядке. Например, я очень не люблю лгать и избегаю лжи как могу, что при моей уединенной, а последнее время и вовсе изолированной жизни не большая заслуга. И почти так же я не люблю даже мысленно кого-либо осуждать, и, когда впадаю в этот порок, на душе бывает скверно. Брат же не видит худого в том, чтобы с каждым играть по его правилам, за глаза припечатывая и каждого, и правила. Леша называет это *двойным Меркурием*, вероятно, отмежевывая от банального двуличия, но эту межу видит только он.

Мы спустились на четвертый этаж и как раз остановились перед кабинетом Васильева, когда мимо нас прошмыгнула медсестра и отперла дверь ключом.

«Вы к Роману Валентиновичу? Проходите, он сейчас подойдет».

В кабинете я не сразу отважилась занять низкое мягкое белое кресло, хотя оно явно предназначалось для пациента, как неудобный с виду вертящийся стул – для Васильева. Больше здесь сесть было некуда, и брат встал, прислонившись спиной к стене. Черновицкий, музыка, даже Лешино нервное предвкушение остались там, а мы были уже здесь и, не сговариваясь, понимали, что ждать надо молча.

Васильев вошел минут через пять, улыбаясь, и поздоровался со мной – наверное, взгляд его был натаскан обращаться сразу в сторону кресла. Я вспомнила Лешины слова о том, что в институте их путали. Они были почти одного роста, Леша чуть выше, Васильев плотнее и прямее. Другие губы, другой разрез глаз, и нос действительно другой, римский, правда, лица у обоих широкие (брату передалось от отца, мне нет). Но что-то неуловимо общее было в мимике, в улыбке, в самом духе, задававшем это общее. Они могли бы быть единокровными.

Леша не торопясь отделился от стены и встал возле меня.

«Леха?..»

Тумблер снова щелкнул. Я видела бирюзовый хирургический костюм Васильева, Лешину белую футболку и две белые полоски на его штанине, слышала смеющуюся речь. Отчего-то мне было хорошо, я опять растворилась, но теперь не в цвете, а в неуклюжей радости двух людей, каждый из которых для другого пришел из прошлого. Слов этой радости я не могла разобрать, но улыбалась. Боль стирала меня, боль хотела очистить от меня это кресло и кабинет, а я улыбалась.

«Чем занимаешься? Преподаешь?»

«Сейчас нет... Пишу для одного популярного медицинского издания».

Леша покосился на меня – не выдам ли.

«Как у тебя с графиком? Завтра я тут и заканчиваю около пяти...»

У Васильева был приятный тембр и выразительный, звучный, модулированный голос, из тех, которым не нужна громкость, чтобы к ним прислушивались, и о которых трудно сказать, высокий он или низкий.

«График у меня свободный», – ответил Леша, как показалось, неохотно.

«Слушай, здесь есть кафешка на седьмом этаже – скромненькая, без претензий, как раз посидеть поболтать около часа, а, как на это смотришь?»

Взгляд самого Васильева соскользнул на Лабубу в Лешином кармане. Я не поверила глазам: брат молча пожал плечами и робко улыбнулся.

«Ну так решено. Простите, – Васильев повернулся ко мне. – Вы, наверное, думаете, что мы о вас забыли?»

И я тоже робко улыбнулась, словно мы с Лешей были близнецы.

Васильев очень осторожно надавил мне двумя пальцами на щеку, приложил к ней ладонь, будто собираясь погладить. Я отвечала на его вопросы, Васильев подтверждал мои ответы собранно-участливым кивком, глядя прямо в глаза, и я невольно думала, всегда ли он такой с пациентами или причиной Леша.

Я привыкла, что, стоит мне заговорить, у собеседника, будь он даже врач, в первый миг возникает настороженно-брезгливое выражение. Только в первый миг, а во второй человек, будто стыдясь, становится из всех сил *этичным* и *инклюзивным*. У Васильева не было ни первого, ни второго.

«Давно у вас логоневроз?»

«С детства», – ответил Леша за меня.

«Сколько себя помню», – сказала я.

«Когда она поет, то не заикается».

«Леша!..»

Васильев, снова улыбнувшись, перевел взгляд с него на меня.

«Она певица!» – произнес Леша с той же гордостью, что и двадцать лет назад.

«Давно уже нет», – сказала я.

Переключать регистры Васильев умел не хуже Леша. Пожалуй, улыбка у него все-таки была другая, мягче, теплее. Как и его дежурная серьезность, ради которой он слегка хмурился.

«Первичная невралгия тройничного нерва у женщины моложе пятидесяти встречается не так уже часто. Надо будет сделать МРТ, чтобы исключить рассеянный склероз».

«Я делала два года назад. Вот снимок и расшифровка».

«Знаете, два года... Сделаем повторно у нас»

«Если диагноз “первичная тригеминальная невралгия” подтвердится, то есть действительно сдавлен корешок тройничного нерва в области его выхода из ствола мозга каким-либо кровеносным сосудом, как правило, верхней мозжечковой артерией, то наилучший вариант в вашем случае – микроваскулярная декомпрессия корешка тройничного нерва. Это новейшая методика, вкратце объясняю ее суть...»

*

Еще в аспирантуре я задумал книгу, в которой прослеживалась бы история материи как загадки, материи как мысли о материи, или, если чуть подладиться к фене академических буратин – история научного поиска и философского осмысления ее сущности. Для воплощения задумки нужно было немного: соавтор, а лучше консультант, совмещающий в себе историка философии, историка естествознания, физика, химика и святого блаженного, который будет гореть за идею, ничего для себя не желая, и менее всего чего-либо, выраженного в денежных знаках. Историком философии, историком естествознания, химиком и безусловным святым блаженным в конце концов пришлось стать мне самому, а физика я залучил. Наше сотворчество сразу приняло незапланированно бурный и вообще незапланированный характер, и всего через полгода мы поженились.

К тому времени моя будущая жена уже была старшим научным сотрудником лаборатории квантовой теории поля ФИАН. Помню, то ли на моем, то ли на ее дне рождения кто-то из родственников, кажется, все-таки с моей стороны, спросил: «И зачем вам, физикам, этот бозон Хиггса?» На что жена ответила: «А чтобы он за нас пахал». Мы с ней потом чуть не поругались, и дело не в том, чей родственник задал вопрос. Я сказал, что, по-моему, как бы сложна ни была тема, надо хотя бы попытаться объяснить, а жена сказала, что пытаться объяснить зачастую еще хуже, чем вообще не объяснять, потому что неудавшаяся попытка все только запутает. Я тогда уперся и, боюсь, тем принципиальным, но все же чисто теоретическим спором мы выпустили злого джинна из бутылки, хотя, по логике, злой джинн к началу спора уже был на свободе, он нас и подначил. Теперь, задним числом, я согласен с женой – не всякий вопрос заслуживает ответа. Если человек считает, что можно вломиться с наскака в серединку узкоспециальной научной темы и получить объяснение на пальцах, то он идиот и не поймет даже объяснения на пальцах. А если он не идиот, то значит, спросил не ради ответа, а ради вопроса, следовательно, и получил что хотел. И все-таки тот спор, с которого, кознями джинна, и пошла у нас почти каждодневная ругань, вскрыл, как говорится, неразрешимое противоречие, запоровшее наше совместное и, казалось, толковое начинание – книгу о материи. Итог нашего тандема – несколько вордовских страничек, хранимых мною как память, да горка поломанных копий, к тому же обугленных, поскольку мы потом многожды ее запаливали.

Но именно жена перепрограммировала несостоятельного автора в худо-бедно состоявшегося издателя, невзначай, а возможно, желая отвести от посягательств что-либо писать самому (и едва ли предвидя, куда оно нас заведет), намекнувшая, что ведь можно пока найти кого-то, кто уже что-либо написал. Позже я задумывался, то ли она имела в виду, но, как бы ни было, тогда понял намек однозначно.

Но издательство без концепции – все равно что яхта без паруса. Если мои собственные мысли еще не готовы выстроиться в кристаллически-совершенный проект, то что я предложу на временную замену? Какие *чужие* мысли я хочу нести в мир? Для начала, пожалуй, надо было выгородить область, откуда следовало ждать притока идей. Место слияния философии и медицины, разумеется. Вот только место это знал пока я один и даже не успел еще нанести его на карту. Остается брать по отдельности физику, химию, медицину и философию, а издательство пусть и будет тем миксером, который перемешивает их в читательской голове. Растворяй и сгущай! Из читателей я понемногу сгущу *своих* авторов.

Я нанял верстальщицу, обязанности не только редактора, но и корректора частью взял на себя, частью подключил Лауру, у которой уже начиналось то, что мы с мамой тогда принимали за выверт настроения или кратковременный творческий кризис. Один «герметичный» юноша, называвший своими учителями меня и Евгения Головина, бесплатно сделал сайт (профиль в соцсети как торговая площадка тогда был еще малохоженной тропой). Он же привел небольшую толпу визионеров, рвавшихся – правда, за деньги – оформлять обложки. Я честно устроил им смотр и в итоге дизайнерское оформление тоже взвалил на себя. Заключил договор с типографией, прошел регистрацию в налоговой и в Книжной палате – можно было закидывать невод. Жена рекламировала «Парагранум» среди коллег, а я с ворохом свежееотпечатанных визиток обходил вузы и НИИ, естественнонаучные, гуманитарные и даже технические.

Мои институтские друзья (к тому времени уже меньше друзья и больше знакомые), а также школьный друг Димка – теперь инженер по водоснабжению – толком не понимали, чем я занимаюсь и кем меня, соответственно, считать. Вроде бы перевожу с немецкого вкладыши к лекарствам, но при этом еще зачем-то издаю книги; с Димкиной точки зрения один член тут явно был лишней. Друзья жены, физики, напротив, понимали; для них я был полезным идиотом в первом приближении. Мама и сестра понимали так, что издание книг – наполовину отдушина в трудной жизни супруга и отца, наполовину филантропия. Жена сначала поддерживала меня, но настаивала на том, чтобы запуститься

с парой-тройкой традиционных научных монографий, тем самым сделав издательству реноме и отбив вложенные средства. Я признавал ее правоту по сути, но послушаться не мог – боялся, что «Парагранум» завязнет на этом этапе и останется очередным научным издательством средней руки, штампующим кандидатские диссертации в мягких переплетах. Так в итоге и вышло, вот только деньги все равно не отбились.

Тогда жена еще воспринимала меня как человека перспективного. Не в качестве кормильца – кормилицей семьи она стала где-то между рождением Ани и рождением «Парагранума», – а в качестве имеющего нечто сказать и умеющего нечто создать. Как в целом говорится о браке, у нас были хорошие и плохие дни. В хорошие жена становилась деятельным слушателем и непредвзятым критиком моих устных «пролегоменов», в худшие – обзывала их бредом, говорила, что я задолбал, что не владею научным методом и не способен мыслить структурированно и, наконец, даже окончи я ординатуру, никогда бы к такому гинекологу не пошла. На последнее я из раза в раз замечал, что если б я сейчас был гинекологом, то откуда бы она узнала, что я – это я. Однажды нас услышала Аня и спросила, кто такой гинеколог. Это доктор, который делает детей, ответил я раньше, чем жена выдала бы что-то более согласованное с научным методом. А ведь я потому и хотел, уже «посвященный» Парацельсом, но еще не разочарованный во врачебном деле, специализироваться по гинекологии – чтобы впускать или, то же самое, выпускать желающих явиться на свет, и прочь гнал догадку, что едва ли не чаще придется отправлять их обратно.

*

В коридоре Леша стал самим собой.

«Вот бы не подумал, что у Ромы два рубля вместо глаз! Ишь, в трех местах гребет. Я смотрел расценки: где восемь косарей за прием – занятное, кстати, прозвище, я себе сразу “страшного жнеца” представляю, – а где все десять. Полмиллиона в месяц набегает – скромненько, без претензий».

«Считать деньги в чужом кармане последнее дело».

«А в своем – унылое. Особенно если там дыра».

Мы снова шли вдоль лавандовых стен, под ласковую попсу, двери, как крылья, взмахивались перед нами, и мне было так легко и светло, как только несколько раз во сне.

«А он и вправду солнце», – сказала я.

«Кто?»

«Васильев, кто же еще! Ты же говорил, в институте он напоминал тебе солнце».

«Говорил?.. То есть вслух?»

«О Господи, Леша, надо думать вслух, раз я слышала».

«Хм. Я был уверен, что вспоминаю мысленно. Ну да Бог с этим. Заметила золотую цепь?»

«Ага! – Я как сейчас увидела красновато-загорелую шею, крепкую и довольно короткую, с яростно блестящей цепочкой, скорее слишком золотой, чем слишком широкой; и еще почему-то я увидела открытые до середины предплечий руки, уютно-круглые и уютно-сильные. – Я думала, такие только массажисты носят».

«К мощной шее золотая цепь просится. А судя по рукам, еще несколько лет назад он ходил в качалку», – словно увидел то же, что и я, Леша.

«Хирурги должны быть сильными».

«Да брось! При современной-то аппаратуре и инструментах? Это все для внушительности. Они должны не быть, а внушать. Могущество и надежность. Как римские императоры! Ха, у Васильева и профиль римский! И имя римское – Роман Валентинович! Да он просто Цезарь Август!»

Императорский титул брат почти выкрикнул, и на нас обернулись две шедшие впереди медсестры.

«Не вздумай делать по новой МРТ, да еще и КТ! – переключился Леша. – Говорю тебе как без пяти минут врач: ничего там за два года не изменилось. Да, драть деньги он не промах. Подозреваю, какой тут ценник на инструментальные исследования, так что, если охота сделать, найди хотя бы где дешевле»

«Ничего, у меня есть сбережения, – сказала я. – Сделаю все здесь».

*

Если я со времен учебы постройнел, то Васильев немного раздался. Тогда он носил «полубокс», на видео восьмилетней давности у него волосы почти до плеч, зато теперь – классическая короткая стрижка, слегка запотевшая; еще бы: полдня в хирургической шапочке.

Мы с Ромой Васильевым не дружили близко, но всегда оказывались в одной компании. Оба мы считались «юморными», но я как бы злым, а он как бы добрым, то есть я ломался, а он шутил. И выражение «душа компании» ни один наш товарищ в здравом уме ко мне бы не применил, а к Роме – легко, хотя тот не работал нарочно на публику, не пыжился и не суетился. Он был как солнце, которое уверенно чувствует себя в небе, знает, что свою солнечность ему не с кем делить, и согревает все живое, о своей щедрости не задумываясь. Рому я долго считал образцом устойчивой нервной системы, а потом как-то раз он сидел рядом со мной на лекции, такой расслабленно-собранный, взгляд устремлен на доску, и вдруг я увидел, что он так мелко-мелко, дробно-дробно стучит ногой об пол. И я подумал, что все мы, медики, насквозь больные. Однажды Рома сказал, что его интересует феномен боли, и все, кто при этом был, заржали, мол, вот ты себя и выдал – скрытый садист, а Рома обиделся как ребенок и сказал, что его бабушка всю жизнь страдала сильными болями неясного генезиса.

Я ждал в скромненькой кафешке, раздумывая, заказать ли мне детский пакетированный сок или все-таки эспрессо, но тогда уж за счет Васильева, чего не слишком хотелось. Васильев вышел из лифта для персонала и сразу направился к прилавку.

«Иван-чай, пожалуйста».

Казалось, он нарочно не смотрит по сторонам, на столики, не ищет меня глазами, как сделал бы, например, я, войдя туда, где условимся с кем-нибудь о встрече. Сначала одно, потом другое – поэтапно, пошагово, как при подготовке к операции. Вчера Васильев явился перед нами с улыбкой, но в эту минуту представить его улыбающимся я не мог. Вид у него был такой же собранный, как раньше на лекциях, только без расслабленности. И я подумал, что, если б узнал Васильева только сейчас, посчитал бы его человеком жестким. И вдогонку, необъяснимое, – что и зная его со студенческой скамьи, считаю так же.

Расплатившись, со стаканчиком в руке, Васильев повернулся точно ко мне. Теперь он улыбался. Значит, заметил меня сразу, как вышел из лифта.

«Я здесь недавно; ничего себе клиника; есть к чему придраться, рулит ею какой-то жук, но вы молодцы, что сунулись сюда: две других похуже, а взяли бы пол-ляма за все про все».

«Не взяли бы, – улыбнулся я мудро. – У нас ее нет».

«Кого ее?» – Васильев сдвинул брови.

«Половины. – Брови не раздвигались, и я уточнил: – Ляма».

«А... Ну да. Как на личном фронте?»

«Разведен. Дочь».

«Аналогично. Твоей сколько?»

«Восемнадцать».

«Моей шестнадцать».

«Учится в **». – Я почти нечаянно назвал вуз.

«Ого!»

«Вообще-то я не видел ее уже года четыре».

Стоило ли разбегаться, чтобы сдавать назад, но так уж действовал на меня Васильев, превращая в гармонический осциллятор.

«А моя живет со мной. Сама захотела».

Надо было срочно выдать реплику, и я спросил, как зовут.

«Софья».

«Мою Анна».

Мы замолчали, будто смотрим каждый на *свою*. Пока было перейти к моей нехитрой заготовке.

«Видишься с кем-нибудь?»

«Знаешь, времени катастрофически не хватает...»

Если бы я вкалывал в трех клиниках, у меня бы тоже катастрофически не хватало, утешил я его мысленно.

«...Созваниваемся кое-с кем два-три раза в год. Чаще всего со Стасом».

«Он вроде в Первой градской?»

«Давно уже не. Сменил несколько частных клиник, а сейчас в кардиоцентре при поликлинике Минтранса... нет, погоди – Минтруда?... Вечно забываю!»

«А Марина?»

«В НИИ офтальмологии».

«По-прежнему, значит. А Нарик?»

«Последнее, что слышал: в Швейцарской онкоклинике зав. отделением».

«Швейцарской?!»

«Да это так называется! В Красногорске. Закупили когда-то швейцарское оборудование. А ты что же, всех растерял? Вообще, ты всегда был отрезанный ломоть».

«Правда?» – сказал я, искренне удивленный, хотя прежде всего чтобы не думать о «растерял» – оно сразу переносило в ту пору, когда я был частым клиентом «нашего философского магазина».

«Помню, сидишь рядом на лекции и что-то бормочешь».

«Боже правый!.. А я-то был уверен, что размышляю. Прости, если мешал!»

«Да нет, как ни странно, совсем не мешал, даже создавал успокаивающий фон. – Васильев усмехнулся. – Слушай, на курсе всякие разные догадки строили... Почему все-таки ты забил на ординатуру? Так в науку потянуло? Или что?»

Мне хотелось поподробнее о догадках, которые строили на курсе, и при этом я сознавал, что теперь подошел тот самый момент и когда он еще представится.

«Евангелие велит возлюбить ближнего как самого себя. А Парацельс писал, что врач должен возлюбить пациента *больше* самого себя. Ну и дальше было уже совсем легко сделать соответствующий вывод. Как-то так...»

«Как-то так» я прибавил напрасно, эта моя оплошность дала Васильеву фору.

«Ну-у, это уже, знаешь, сверхъестественный альтруизм, я бы ни от кого такого не требовал! Как по мне, врач должен любить не пациента, а свою работу. Если любишь свою работу – а я вот, например, люблю, – то будешь распинаться, чтобы, как бы это выразиться, не ударить перед ней в грязь лицом. То же, кстати, касается и женщины. В итоге пациент же выигрывает. А если вот он к тебе пришел со своей тригеминальной невралгией, или запущенным стенозом позвоночного канала, или глиомой, или тебе его привезли по скорой с разрывом аневризмы – это когда я еще работал в городской больнице, – и ты сначала пытаешься его полюбить... – Васильев откинулся на стуле и развел руками. – Я даже не представляю себе, как такое возможно! У меня их по пять – по шесть на дню, а раньше поток был еще больше...»

Вдруг до меня дошло, что из динамиков уже некоторое время звучит «Cold little heart» Майкла Кивануки. Я люблю Кивануку, особенно эту песню, мне страсть как

хотелось ее послушать, а Васильев все говорил. И я выбрал песню. Она отыграла лишь чуточку позже, чем я заметил, что Васильев молчит.

«Что с тобой? Ты как в трансе».

«Обдумываю твои слова. Да, все это, конечно, так, а с другой стороны – да что тут скажешь?..»

«Верно», – кивнул Васильев.

«Ну, я рассказал, почему не стал врачом, теперь ты расскажи, почему ты *стал*. Династия?»

«И близко не. Я из Магнитогорска, отец был инженером по технике безопасности на той самой Магнитке. Маленьким я только и слышал: тот уволился с инвалидностью, эта бюллетенит, того «ушли», потому что он уже все бронхи выкашлял, – да и сам из болезней не вылезал...»

«Ты?! Поверить невозможно!»

«Пришлось потрудиться, чтоб стать таким, каким ты меня видишь. Врач не имеет права плевать на свое здоровье».

«Иван-чай». – Я кивнул на его уже пустой стаканчик и улыбнулся.

«В том числе. А почему нет? – Васильев, похоже, неправильно расценил мою улыбку. – Природный седатик, иммуномодулятор и антиоксидант. Твой Парацельс одобрил бы».

«Что касается иван-чая, то Парацельс считал, что определенное растение притягивает, как магнит, силу определенной планеты, и именно эта планетарная сила, то есть душа, воздействует на душу человека, то есть его звездное тело, от состояния которого зависит состояние тела элементарного, то есть физического. Звезды через звездные души растений воздействуют на звездное тело человека, поэтому лечебные свойства растений зависят от того, когда, при каком положении планет они собраны. Врач должен знать астрономию, читать звездное небо...»

Пока говорил, я успел пожалеть, что начал, но таков уж Парацельс и таков уж я, что, если заводишь о нем, «тпру» подействует только с третьего раза. Мне заранее было тошно от неизбежной ухмылки Васильева, но почему-то он с нею медлил.

«Красота какая», – произнес Васильев спокойно.

«Правда?» – спросил я точно так же, как днем раньше на «отрезанный ломоть».

«Расскажи о нем еще», – попросил Васильев и скрестил руки на груди.

Искушение было могучим, но интуиция его побила.

«Сначала ты дорасскажи о себе. Ты ведь не закончил».

Это застало его врасплох, он даже моргнул.

«Магнитогорск», – напомнил я.

«А, да... Ну и вот. Хотелось лечить. Хотелось контролировать ситуацию, понимаешь? Быть тем, кто что-то может сделать, прямо сейчас!»

«Твоя бабушка! – Я спохватился, не слишком ли лапидарен: – Ее боли неясного генезиса».

«Бабушка... – Васильев закивал так, будто вспомнил сам. – Ее отец приехал с первой комсомольской бригадой, а она сорок лет заведовала библиотекой при заводском клубе. – Васильев устался в поверхность столика рядом с моим правым локтем, и я вдруг распознал цвет его глаз, хотя прежде не задавался вопросом об их цвете, – между темно-серым и светло-коричневым. – Жуткий город», – произнес Васильев и едва заметно покачал головой.

Мне было неловко, но только я собрался вымолвить что-нибудь терапевтическое в противовес этой бескомпромиссной хирургии, как Васильев поднял на меня взгляд.

«Понимаю, ты это миллион раз слышал, но, знаешь, тебе повезло, что ты родился здесь».

Ничего подобного я не слышал и сотой доли раза. Васильев смотрел на меня прищурившись. Этот ли прищур оголил мне зрение, но я вдруг увидел, что от того

солнечного Румы остался лишь римский нос да полнота, с которой он не то чтобы совсем безуспешно, но явно тяжело боролся. А впрочем, никогда, никогда он не был солнцем для себя самого.

«Я родился, а ты реализовался», – сказал я, рассчитывая, что он уловит подтекст, но Васильев, кажется, не уловил.

«Есть еще куда двигаться, – сказал он словно немного нехотя и добавил уже совсем без удовольствия: – Собственная клиника».

«И вперед! У тебя имя, репутация, влияние!...»

«И зависть. И долги по кредитам – не знаешь, что хуже. При разводе отдал жене квартиру, взял для нас с Соней ипотеку: девочке же, понимаешь, нужно свое пространство, ну и не ударить опять-таки в грязь лицом, если друзей приведет... да и мне необходимо – до сих пор не могу от общаги отойти... Не у всех, может, такие запросы, но какое мне дело до других? Вот оно и тянется. Так это все иногда на печень давит!...»

Моя печень подвергалась другому прессингу и теперь не откликнулась. Я никогда не брал ипотеку, не влезал в долги. Приходилось считать копейку, продавать что было (а порой чего не было), ходить по проволоке и делать обратное сальто, но все то малое, что я получил, сколь бы мало оно ни было, я получил на блюдечке. Не только наследство крестной. Наследие отца. Парацельса. Жены, дай ей Бог долгих лет, – ведь, она, можно сказать, подарила мне физику. Москва, мое теперешнее жилье, сто долларов и, как следствие, Лабубу – все даром. Целую секунду я жалел Васильева, но пословица про мелкий жемчуг и пустые щи настигла и отрезвила быстро.

«Тебе что-нибудь говорит фамилия Будберг?» – спросил я внезапно, словно некая кнопка, на которую жали-жали, сработала с опозданием.

Васильев помолчал, не припоминая, а скорее взвешивая.

«Нет, а что?»

«Да так. Рано пока говорить».

«Я наведу справки, – сказал Васильев веско, возможно, отнеся всемогущего Будберга к своей кредитной задаче. – Ну, теперь, как обещал, про Парацельса».

Обещания мы даем наотмашь, не рассчитав сил. Я понял это, почти воочию увидев, как скукоживается прежде необозримое – мой Парацельс, которого я слишком долго таскал в себе и слишком помалу раздавал. Чтобы начать, нужно знать, где начало, а я за тридцать лет так ушел так далеко, что забыл, в какой оно стороне. А Васильев, наоборот, только начало, из курса истории медицины, и помнил.

«Парацельс – это не история медицины, – осенило меня. – Парацельс – это сама медицина. А поскольку медицина – это все вообще, вся наука, все знание, то и Парацельс – это все вообще. Внутренний человек, он же жизненный эликсир, он же *aura seminalis*, – это ведь геном! Измерение меняет измеряемую систему, говорит квантовая механика, а что это, как не свидетельство взаимосвязанности макрокосма и микрокосма? Оно, конечно: Парацельс не был первым, кто эту концепцию исповедовал, но он был последним, что еще важнее. Дальше. Парацельс объяснял патогенез болезней взаимосвязанностью или взаимным отражением человека и Космоса. Человек – уменьшенная копия Вселенной, он как бы воспроизводит ее в себе. Не только большой мир влияет на малый, то есть человека, но и малый мир влияет на большой. Дальше. Парацельс говорит, что материя – это коагулированный пар. И ведь действительно, материя возникает из вакуума точно так же, как возникает пар из жидкости при подводе к жидкости больших количеств тепла. Три центральных понятия метафизиологии...»

«Метафизиологии?» – переспросил Васильев не столько недоверчиво, сколько почуяв, что его тихой сапой уводят от Парацельса.

«Да, метафизиологии, или метафизики медицины: Жизнь, Воображение, Восстановление, и все три взаимосвязаны, даже так: все три друг в друга перетекают. Есть и четвертое понятие, вроде скрытого параметра. Неоднозначность, или неопределенность. Я называю это двойным Меркурием».

Васильев поднял брови, но я замахал руками.

«Это не суть важно!.. Важно, что, приближаясь к структуре мироздания, мы находим неопределенность. Не только неопределенность по Гейзенбергу, когда мы можем точно установить либо координаты частицы, либо ее импульс, но и суперпозиция, когда частица находится во всех состояниях сразу, когда она одновременно и там, и здесь, но не там и не здесь, и не одновременно, потому что “пространство”, “время”, “частица” – слова языка человеческого, а не бытийного. Когда философия говорит о бытии, физика – о материи, силе и пространстве, а религия, медицина и биология – о жизни, все говорят об одном. Жизнь есть и сила, и пространство, в котором действует эта сила, и материя, на которую она действует. Вернее, говоря о жизни, нельзя разделить силу, материю и пространство. Она и источник всего существующего, и все существующее в его единстве. Нет ничего, кроме жизни, и все пребывает в Боге, потому что пребывает в жизни. Все есть жизнь, стало быть, единая субстанция. Так ведь и по Эйнштейну энергия и масса, то есть, считай, материя суть две видимости одного и то же явления. А согласно квантовой теории поля, материя – всего лишь сгусток энергии, локализованный в пространстве и времени. Но самое замечательное, что, с точки зрения новейшей физики, вся материя вообще может быть сведена к квантовым полям, то есть между веществом и пространством нет разницы, все есть одна протяженность. А струны?!»

«Струны?..» – Васильев выдохнул.

«Или браны – те же струны, только трехмерные! Наиболее фундаментальные материальные образования, с которых все, грубо – или не грубо – говоря, началось. Бесконечно протяженные объекты, и как раз они-то, колеблясь – на то и мембраны, – создают самые разные частицы и взаимодействия, то есть, опять же грубо – или не грубо – говоря, мироздание! Это же *Mysterium Magnum*! Объяснение устройства Вселенной возвращается к монизму, к теории первоэлемента, как ни крути. Инфлатон в теории хаотической инфляции Вселенной Линде – Гута!»

Тут до меня дошло, каким взглядом смотрит на меня Васильев, и я сказал себе «тпру».

«Извини. – Он тихо улыбнулся и потер лоб. – Я очень устал. С трудом врубаюсь».

У меня было ощущение дежавю. «Приближаясь к структуре мироздания, мы находим неопределенность» – восемнадцать лет назад или около того я произнес эту фразу, когда жена, в точности как сейчас Васильев, попросила рассказать о Парацельсе. Но, в отличие от Васильева, срезала меня точно на Гейзенберге, сказав, что под неопределенностью тот подразумевал наше не полное знание о процессе, а не что-то, как я выражаюсь, бытийное. Я не поленился, взял в библиотеке Гейзенберга и стал совать ей под нос – да вот же: «...атомы и элементарные частицы образуют скорее мир тенденций или возможностей, чем мир вещей и фактов», а тут он упоминает Аристотеля, «потенцию», опять-таки возможность. В основе всего лежит Возможность, то есть – как ни крути – Воображение. Жена сказала, что я задолбал со своим воображением и что я и отдаленного понятия не имею о научном методе. Аристотель имел его даже поменьше, и все-таки, согласно ему, материя ведет себя как чистая возможность быть чем угодно – волной, частицей, непредсказуемым всплеском энергии вакуума, и прав он был, утверждая, что пустоты нет. И вечность материи, пребывавшей, как теперь думают, и до Большого взрыва, хотя бы и в планковских величинах? Наконец, что, по существу, интересует современную физику? Фундаментальная структура бытия. А что интересовало досократиков? Фундаментальная структура бытия! А мультивселенная, о которой учил еще Демокрит? Вселенные, которые тут и там возникают, когда энергия осциллирующих полей оказывается на нуле и в ложном вакууме вдруг невзначай образуется пузырек истинного вакуума. Жена в упор отказывалась признавать, что современная физика топчется вокруг античной натурфилософии. Квантовая теория сегодня, мол, погрузила руки по локоть в то, что Демокрит – Ньютон представить себе не мог, а Эйнштейн мог представить, но не мог поверить. Заниматься-то она занимается, а что она знает? Опять то

же, что знал еще Сократ. И что же знал Сократ? А что ничего не знает – как и квантовая теория. В квантовом мире, сказал я, у традиционной математической физики «руки связаны», разве нет? Но ФИАН в лице жены встретил меня на своей территории с вилами: в том-то, мол, суть, что чем дальше от Аристотеля, тем менее Вселенная поддается упорядочению и расчетам.

Однако по-настоящему мы сцепились из-за другого. Жена сказала, что физики уже сейчас могут в лабораторных условиях, используя теорию Линде – Гута о происхождении Вселенной как инструкцию, сотворить сколько хочешь вселенных вроде нашей. Я сказал, что алхимики тоже воспроизводили творение, но у их опытов была аксиологическая подложка. Они верили, что Творец призвал человека в соработники и продолжатели дела творения, облагораживания не только металлов, но и всего сущего, одухотворения материи, которая пока еще только одушевлена, и приведения созданного к Создателю. А просто размножить то, что уже есть, нашлапать вселенных, которые полностью повторяют *эту*, в которых тоже будет смерть, болезни, борьба всех со всеми, пожирание одних другими, старение, оскудение, пересыхание, можно-то можно, да только зачем? Тут жена совсем уж на меня окрысилась, понесла что-то насчет поповской метафизики и креационизма, хотя я даже не думал защищать креационизм от собственной жены. В конец концов, любой субстрат, до которого докопаются физики, любая первооснова, которую им удастся смоделировать, – материя, а Бог есть Дух. Конечно, Бог и в мире, и вне мира, и в пространстве-времени, и вне его. Чувствовали же, по гениальному определению Ньютона. И становится еще гениальнее, если отбросить его «абсолютное пространство» и «абсолютное время», и уж совсем гениальным, если затем отбросить и «относительное» пространство-время Эйнштейна.

А вдруг, подумал я, они уже сделали это – *сотворили*?.. Хотя об этом в два счета стало бы известно, физики любят пиариться. Похоже, они и сами понимают, что в сотворении еще одной вселенной смысла ни на квант, зато ответственности – на Вселенную.

«Кто, что сотворили?»

Васильев глядел на меня с раздраженной тревогой.

«Кто, что?..» – эхом отозвался я.

«Ты бормотал. Как на лекциях. Слушай, пойдем-ка, а?»

Я прикинул, не сослаться ли на дискуссию с женой, в частности на угрозу лабораторных сотворений, но тогда пришлось бы все рассказывать сызнова.

Васильев будто не видел ничего особенного в том, что иду с ним к лифту для персонала. Я был как пришибленный. Откуда-то из угла, словно был электронным и упал на пол, пищал стыд. В лифте я не смотрел на Васильева и чувствовал, что он на меня тоже.

«Ты думаешь, я пыльным мешком ударен», – сказал я без выражения, потому что не знал, что хочу выразить.

Едва ли я знал и какого ответа жду, и жду ли, но ответ последовал.

«Ну, ты ведь обо мне тоже что-то *думаешь*», – сказал Васильев, повернувшись ко мне с усмешкой, словно обыграл меня, вышел первым и на ходу махнул рукой.

Под впечатлением от самой странной концовки разговора за всю мою жизнь я замешкался и махнул уже ему в спину.

3. Изумрудный шрам

После того как мне сделали МРТ и КТ, я поднялась со второго этажа на четвертый, подошла к кабинету Васильева и взялась за ручку. Бог знает зачем.

«Роман Валентинович сегодня не принимает».

Администратор хирургического отделения, с длинными гладкими черными волосами, похожими на выпрямленный виниловый диск, смотрела меня от стойки.

Через неделю я снова стояла, держась за ручку, теперь по праву пациентки, которой назначено, но почему-то так же воровато.

«А вот и вы! Проходите, не стесняйтесь, почувствуйте себя как дома!»

Васильев сидел на крутящемся стуле, под таким крупным человеком напоминавшем фортепьянный табурет, и почти безуспешно отталкиваясь ногой от пола. Он улыбался, и я снова спросила себя, сколько от этого принадлежит всем, сколько Леше, а сколько – кто знает? – и мне как мне.

«Результаты МРТ и КТ я смотрел: действительно, корешок нерва сдавлен верхней мозжечковой артерией, однозначные показания к микроваскулярной декомпрессии, вам нужно будет только сдать необходимые анализы и сделать ЭКГ – для анестезиолога. Операция длится от двух до трех часов...»

«Вы рассказывали».

Все еще с улыбкой, он чуть пригнул голову, будто защищаясь от собственного раздражения на мою наглость.

«Простите, пожалуйста», – опомнилась я.

«Что вы, что вы! – Васильев вскинул голову и выпятил ладони. – Вы абсолютно правы – зачем терять время! В силу специфики профессии я лучше многих понимаю, что время – это все. Да? Ну, пойдемте тогда, определимся с датой и запишем вас».

Он поднялся, я тоже и пошла к двери, чувствуя его спиной и затылком. Васильев протянул руку над моим плечом и открыл передо мной дверь. Мне казалось, мы долго идем по коридору, я впереди, он за мной, и я ни разу не обернулась. Мне хотелось что-нибудь ему сказать, например: время – это все что у нас есть, остальное мы привносим сами, но я чувствовала, что заикание опечатаło мою речь, да и сомневалась, помнит ли он еще свою фразу. У стойки администратора Васильев вдруг махнул кому-то на другом конце коридора.

«Паша! Пал-Юрьич! Иди, идите сюда!.. Ты нам как раз и нужен. Познакомьтесь, это наш анестезиолог, а это наша пациентка».

Анестезиолог был рыжий и важный, с щетиной в пол– толстого лица. Он кивнул мне молча.

«Думаю, никаких противопоказаний к операции не возникнет. Да? Так что будем согласовывать с твоим графиком. Ну, тогда оставляю вас! – Он опять махнул рукой, теперь нам обоим. – Лехе привет!»

И почти побежал обратно к себе, а я ловила сверканье золотой цепочки.

Спустя неделю в комнатке, примыкавшей к операционной, сестра велела мне сесть на стул и повязала вокруг шеи большую салфетку.

«Что это?» – спросила я, когда она снова приблизилась с каким-то приборчиком в руке.

«Вас никогда не стригли машинкой? Не бойтесь, только щекотно будет».

«Я не боюсь», – сказала я искренне.

Сестра выбрила мне довольно большой участок справа – от уха и до середины затылка.

«Не переживайте: волосы отрастут, куда денутся, зато про тройничный нерв забудете».

«Я не переживаю».

В операционной ждали другая сестра и анестезиолог, такой же надутый, кивнувший так же хмуро, как при знакомстве. Мне уже поставили венозный катетер, когда вошел Васильев. Я увидела его глаза между шапочкой и маской – улыбающиеся глаза – и успела подумать, что их видели все, кто ложился на этот стол до меня, и увидят все, кто ляжет после.

Первым появился Лабубу на подушке рядом. Второй – салатная штора, скрывавшая, очевидно, такую же койку.

«Как вы себя чувствуете?»

В ногах у меня сидела незнакомая женщина-врач.

«Хорошо, спасибо», – ответила я, еще не чувствуя ни себя, ни чего другого и догадываясь, что вопрос – только форма приветствия или способ проверить мою адекватность.

«У Романа Валентиновича сейчас другая операция, он попросил *меня* к вам зайти. Меня зовут Могутина Дарья Сергеевна, я второй нейрохирург».

Я задумалась, второй по порядку или по рангу, и чуть не упустила сказать, что мне очень приятно.

«Взаимно. – Улыбалась она и растягивая, и поджимая губы, словно что-то экономила. – Ваши мама и муж приходили, пока вы спали. Это, наверное, мама передала с медсестрой».

«Брат, – сказала я. – Брат, а не муж. Это он передал».

Могутина не повела бровью.

«Старайтесь лежать и сейчас, и потом, когда спите, на правом боку, а если на спине, то сдвинувшись вправо».

«Из-за шрама?»

«Из-за шрама. – Ее долгий, закрепляющий информацию кивок. – Важно! Шрам может два-три дня болеть – это нормально, я выпишу вам рецепт на болеутоляющее».

«Страшный?» – зачем-то спросила я, хотя мне было все равно.

Она поджала губы:

«Стандартный».

Могутина была не моложе меня. Высокая статная «скандинавская» блондинка. В ней было одновременно и что-то изысканное, и что-то наивное: Лив Ульман и Барби разом.

Они с Лешей едва ли не столкнулись в дверях.

«Ты как? У мамы подскочило давление, я отправил ее домой на такси, а сам думал сходить в зоопарк, раз уж он тут рядом, да после таксиста на билет не хватило. Повернись-ка, покажи... Ух ты! Он изумрудный!»

«Подумаешь, зеленкой смазали».

Брат оглянулся на уже прикрытую дверь, и его взгляд вернулся ко мне с той знаменитой смесью озорства и безумия.

«Видел арийскую богиню, а с ней рыжего кабана».

«Кабан – анестезиолог, богиня – коллега Васильева, ее фамилия Могутина».

«Я склею эту Могутину!»

«Чем ты намерен ее склеить? Паклей на голове? Или рваными ботинками?»

«А вот спорим, ей уже надоели супермены типа Ромы! Тебе он, кстати, больше подходит».

Мне показалось, что шрам вздрогнул, как вздрагивает во сне собака.

«Для таких мужчин, как Васильев, такие, условно говоря, женщины, как я, – а женщиной я себя могу назвать только условно, – не существуют. Я для него ноль без палочки».

«Скорее палочка без ноля. – Леша приподнял и опустил одеяло, которым я была накрыта. – И все-таки кое-что поправить можно...»

«Ну да, встать на шпильки, приклеить ногти, накачать губы... и не только».

«Ну, губы – это слишком...»

«Только я хочу, чтобы меня любили такой, какая я есть. Вот ты же не собираешься себя улучшать, чтобы склеить Могутину, ты считаешь, что и так прекрасен».

«То-то и оно, что я, допустим, считаю, а вот ты себя прекрасной не считаешь, какое там: ты условная женщина и ноль без палочки! У тебя комплекс неполноценности, но какой-то извращенный, ты говоришь: я себя буду отрицать, а другие пусть меня принимают, я себя любить не хочу, а другие пусть любят!»

«Так ведь в этом и суть комплекса неполноценности!»

«Эксперт», – сказал Леша, наклонился и прижался лбом сначала к моему лбу и затем к своему гению.

Это был первый наркоз в моей жизни, и меня изумляло, насколько ясная после него голова, как прозрачно время вперед и назад, а главное, как легко говорить.

«Я никогда не встречала человека такой харизмы. И такой властной внутренней силы».

На этот раз Леша не спросил, о ком я.

«А Андрей Николаевич?»

«Андрей Николаевич – другое. Его внутренняя сила была духовной, а у Васильева она... жизненная».

«Для Парацельса это была одна сила».

Брат смотрел куда-то мимо и поверх моей койки, и в его глазах было уже не озорство и безумие, а то самое прозрачное – прозрачно-голубое время, всегда печальное, когда оно смотрит через наши глаза.

«Парацельс *тоже* был неудачником», – сказал Леша.

Один край его губ пополз вверх, но застрял на полпути. И я поняла, к кому относится «тоже».

*

Когда я поняла, что могу петь, я почувствовала в себе что-то большее меня. Это большее меня было моим смыслом.

Учительница пения в школе предложила мне заниматься после уроков. Мама носила ей подарки, полученные ею самой от родителей пациентов, а та каждый раз отсылала их со мной обратно. Наши занятия были для нее достаточной наградой, и дело тут, как позже я поняла на себе, не в степени одаренности ученика. Я освоила нотную грамоту, разучивала вокализы и песни вплоть до Шуберта. Выступать на школьных вечерах я отказывалась категорически, как бы ни наседали мама, директор и учительница пения. В отличие от мамы и брата, она никогда не пророчила мне выдающую певческую карьеру и только накануне десятого класса отвела к своей подруге – преподавательнице музыкальной школы. Та послушала меня и сказала, что голос несильный, но приятный, и я могу стать хорошей камерной вокалисткой. Не помню своего удовлетворения, впрочем, прошло ведь всего полтора года со смерти отца. Они с Лешей были вдвоем на море, Леша находился всего в нескольких метрах, когда у отца остановилось сердце. Мне кажется, потому он и решил не становиться врачом, хотя должен был, как считается, сделать ровно наоборот. Но Леша никогда не делал так, «как считается».

Я поступила в Гнесинку на факультет вокала.

Не то чтобы со мной носились, но я сознавала, что по умолчанию считаюсь в семье без пяти минут второй Каллас, хотя сама себя оценивала намного трезвее, ну или старалась оценивать. Еще на вступительных экзаменах я поняла, что голос у меня средний, что примерно половина будущих однокурсников поют лучше. И что было делать с этим знанием все пять лет учебы? Уже на первом курсе преподаватель посоветовал набрать вес, дескать, голос окрепнет и развернется. Я было взялась, но скоро поняла, что для того, кто не любит есть, это пытка не меньшая, чем голодать для того, кто есть любит. Попытка-пытка была отброшена, и я обзавелась ярлыком *хрустальный звук* – чистота, хрупкость и «не кантовать».

На последнем курсе приглашенный режиссер поставил с нами «Волшебную флейту», я пела Папагену. Была пара отзывов, но ни в одном я не упоминалась.

После окончания я подавала заявки в несколько театров и в филармонию, но либо не было вакансий, либо я срезывалась на прослушивании, либо мне давали понять, что у меня хорошие данные, но не настолько, чтобы теснить из-за меня других. Уезжать из Москвы мне не хотелось. Моя преподавательница помогла мне заключить контракт на

участие в записи диска, баховских «Страстей по Иоанну». Я нашла средней руки музыкальное агентство и следующие пять лет пела в сводных концертах, выступлений у меня бывало от пяти до десяти в год. Кроме теплоходов и подмосковных домов отдыха, корпоративов были и хоть маленькие, но уважаемые площадки. Всякий раз я ждала рецензии и искала в них свою фамилию – тщетно. Постепенно предложений поступало все меньше – агентство понемногу прогорало и сворачивало лавочку.

Один режиссер решил поставить современную оперу, в основе либретто лежала древнеегипетская мифология, но героями были несколько правителей от Эхнатона до Николая II. Меня взяли петь партию Николая-Осириса, написанную для сопрано. В Андрея Николаевича, режиссера и автора либретто, я влюбилась – впервые со времен школы. Он был старше на сорок лет и видел во мне скорее дочь. Я познакомилась с ним брата, и они подолгу, азартно обсуждали египетскую магию и медицину, герметизм и алхимию, а я слушала. Помню, Леша сказал, что, согласно Парацельсу, все творение – буквы, которые, если сложить их в слова, образуют книгу о человеке, и Андрей Николаевич заметил, что это явно влияние каббалы. Тогда он и нарисовал на листе из блокнота в клетку Древо Сефирот. Андрея Николаевича не стало девять лет спустя, и тот рисунок, сложенный вчетверо, всегда в моей сумке.

Увы, случился скандал вокруг фильма «Матильда», и директор театра расторг договор. Вскоре – что, конечно, еще ничего не значит – Андрей Николаевич заболел, со мной и братом общался все реже, а пандемия почти совсем нас разлучила. Моя любовь к тому времени перешла во что-то иное и одновременно осталась тем, чем была, как ставший Осирисом после смерти Николай. И не только он, наверное.

Я устроилась певчей в храм и ходила на прослушивания в театры, но всякий раз брали кого-то другого. С мамой и братом мы никогда не говорили о том, как все сложилось. Подозреваю, что маме принять мое карьерное поражение было еще труднее, чем мне, а по Леше трудно понять, насколько для него вообще важны успех и неуспех, мой или его собственный.

Однажды я шла по хорошо знакомой улице и заметила на одном из домов свежую вывеску: центр детского досуга и творчества. На следующий день я зашла туда со своим дипломом Гнесинки и вышла нанятой преподавать вокал. Я даже сумела поставить условие, чтобы занятия были индивидуальными. За все время до того, как дом снесли по программе реновации, а центр так и растаял без приюта, я ни разу не сказала родителю, что у его ребенка «нет данных», пусть даже тот еле слышно пищал или хронически не попадал в ноты. Очень скоро я поняла, что если поставить дыхание и научить «опираться» голос, то худо-бедно запоем любой. Как-то Леша процитировал Парацельса: кто ничего не умеет, тот ничего не любит. Чем лучше человек умеет петь, тем больше он любит петь, а пение качественно меняет жизнь. Я встречала на первом занятии ребенка иной раз начисто лишенного слуха, но уверенного, что он *поет*, а выпускала ребенка, знающего, как петь. Те немногие, у кого были способности, начинали петь правильно, то есть более красиво. Всего у одного мальчика я действительно открыла голос, но, подозреваю, мое «открытие» безвозвратно сломалось года через три.

Я старалась больше рассказывать, о стилях пения, о выдающихся певцах, иной раз мы с учеником просто смотрели на ноутбуке оперу и я объясняла работу исполнителя в действии, какую ноту и как он сейчас взял, но только если не видела, что спектакль увлек и я своими комментариями помешаю. Дети быстрее, чем взрослые, привыкали к моему заиканию, те, что помладше, – потому что для них каждый человек штучный, а подростки – потому что все взрослые, наоборот, сливаются для них в один фон.

И в храме, и в детском центре платили копейки, поэтому я давала, когда удавалось найти, и частные уроки, но пение не пользуется у родителей таким спросом, как фортепьяно, а инструментом я владею не настолько хорошо, чтобы предложить свои услуги для подготовки к музыкальной школе.

Когда стало ясно, что центр еще долго не получит новое помещение, мне, теперь с опытом и рекомендациями, удалось устроиться в так называемую школу искусств. Там было гораздо больше нагрузки, но и больше платили, и способных детей было намного больше. Именно тогда я осознала, что неспособные мне симпатичнее и учить их приятнее, потому что они легче забывают о себе. А потом пришла пандемия, ввели локдаун. Давать уроки по зуму было наказанием, и, сидя дома, к тому же без живительных прогулок, я уставала вдвое больше, чем раньше.

Я заболела только через год. Болела не слишком тяжело – температура под сорок держалась около суток, другие симптомы прошли еще за пару дней, да и легкие в итоге оказались незатронутыми. Но эти дни изменили все. Дело не только в том, что теперь я спала по двенадцать часов и к вечеру все равно клевала носом, не в том, что у меня выпадали волосы, ослабили руки и даже после недолгой ходьбы тяжелели ноги. Мне показалось, что половину меня снесли, и все, что находилось в той половине, тоже разом исчезло, как тот центр детского досуга и творчества. В снесенной половине оказался голос. Сначала я поняла только, что усилилось заикание. Раньше, прежде чем заговорить, мне нужно было выдохнуть; теперь, даже выдохнув, я всякий раз вытаскивала речь из стремительно густеющего цемента. А когда я попыталась взять ноту, голос будто провалился вниз, в меня, как если бы я смахнула его туда ненароком. Я пыталась снова и снова, как пытаются подцепить крючком то, что лежит на дне. Мне казалось, вот-вот, еще немножко, трос недотягивал лишь самую малость, надо просто спустить его поглубже. Но то ли не хватало троса, то ли провалившееся в меня разбилось от удара на части.

И как в семь лет – что могу петь, так в тридцать семь я поняла, что петь не могу.

Я больше не могла давать уроки. Я больше не могла почувствовать в себе смысл. Я больше не могла ничего противопоставить миру, который меня выталкивал. Я больше не могла. А когда два с половиной года спустя у меня воспалился тройничный нерв и начались боли, это было, как если бы во мне снова появилось что-то большее меня самой. Словно чем реальнее боль в своей силе, тем реальнее я, тем законнее мое место на земле. И чем тяжелее переносить эту боль, тем тяжелее смысл, которым я вдавлена в мир наравне со всеми.

*

«Прекрасно выглядите! – По тону я догадалась, что эта фраза встречает каждого пациента после операции. – Как дела вообще?»

Я не знала, что хочу ответить, и чувствовала, что ответить ничего все равно не смогу: язык отнялся, говорят в таких случаях, но именно в моем отнялось все, словно меня мгновенно и вчистую ограбили. Спазм не выпускал из гортани ни единого звука и даже рту не давал разомкнуться. Я смотрела на Васильева – со всем большим отчаяньем, он смотрел на меня – со все более удивленной улыбкой.

«Это называется *высокий порог ответной реакции!*» – засмеялся Васильев наконец.

Про мой «логоневроз» он успел забыть.

«Будем считать, что дела хорошо. Да? Шрам, наверное, побаливает? Сейчас мы его поглядим...»

Кисти у него были небольшие, словно нарочно для нейрохирургии. Руки ниже локтя и до запястья полные по-женски и гладкие, без выступающих под кожей мослов, словно те заметные бицепсы принадлежали кому-то другому.

«Ну, то, что я вижу, мне в общем и целом нравится. Заживление идет... Через неделю приходите снимать скобы. Это сделаю либо я, либо Дарья Сергеевна».

Заглянула медсестра.

«Пациентка Каблукова здесь».

Я вздрогнула. Моя фамилия Клобукова, но и меня, и брата часто переименовывают в Каблуковых.

«Что это?» – Васильев чуть сморщился, как человек, ждущий быстрой подсказки.

«Секвестрэктомия межпозвонковой грыжи».

«Да-да, сейчас подойду. Ну так вот...» – Он повернулся ко мне, еще или уже не видя.

«Идите, – сказала я вдруг и поднялась. – Я запишусь на следующую среду».

«Отлично!» – выпалил он, вскочил, насколько это было возможно, со стульчика и ринулся открыть передо мной дверь. Выходя, я чувствовала ткань его рубашки лопатками. А спускаясь по лестнице, наконец поняла, что произошло и как сильно я этого боялась.

*

Жизнь сидит на двух стульях – непредвиденности и предсказуемости. Я не знала, что снова полюблю, но знала, что моя любовь снова будет обречена.

Меня никогда не любили.

Долгое время мужчины вовсе не обращали на меня внимание, что, конечно, огорчало, но не удивляло: мое тело перестало меняться в тринадцать лет, а у лица, кажется, сроду не было возраста.

В тридцать я пережила свои единственные и короткие отношения. Этот человек был несколькими годами старше и отчасти на меня похож: окончив композиторский факультет консерватории, он почти ничего не сочинил и работал музыкальным журналистом. И был женат.

«Только никакого проникновения! – сказал он, вдруг чуть отстранившись, когда мы в первый раз оказались наедине. – Я не могу входить в двух людей».

Не то чтобы мне так уж хотелось непременно стать физиологически женщиной, но его условие лишало наши отношения полноты и завершенности, все опять было не настоящим, и я не могла отделаться от ощущения, что мною брезгают, хотя и понимала, что дело не в этом. Он не выносил пошлости и заурядности, а что может быть пошлее и зауряднее неверного мужа? В то же время, как всякому, у кого не задалось желаемое, ему была нужна *тайная жизнь*. Мне ее давали книги, но для него это, очевидно, было пресно. В начале наших отношений он говорил, что любит меня, ближе к концу – что любит только жену. Потом появилась еще одна женщина (как он же был недоволен своей жизнью, раз ему понадобилось возвести тайну в квадрат), которую он скрывал от жены, но не от меня; не знаю, впрочем, было там «проникновение» или нет. На мое «Как же так?» он, помолчав, ответил: «Я полиамор». Почти сутки, даже в недолгом сне, я чувствовала себя раздавленной, а проснувшись наутро, увидела, что что у меня есть по крайней мере один шанс – шанс придать нашим отношениям полноту и завершенность, покончив с ними. Когда я предложила расстаться, на его лице помимо боли отразилось огромное облегчение. И с братом, которого я посвятила в отжитую историю, мы с тех пор называли его не иначе, как «полимер».

У психологов заготовлен ответ на вопрос тех, кого отвергают: «Почему?» Потому что тебе это выгодно, потому что на самом деле ты не хочешь, чтобы твою любовь разделили, потому что тебе нравится страдать, или ты боишься интимной близости, или родители искалечили тебя своим равнодушием, или ты и вовсе латентный гомосексуал. Ни один из мотивов я у себя не нашла. Посыл очевиден: человек отвергаем потому, что хочет быть отвергаемым. Никто не хочет быть отвергаемым. От человека, который бы этого действительно хотел, в ужасе убежал бы самоубийца – а может, и сама смерть. Психологи не сомневаются, что терпящий неудачу в любви или в чем другом подспудно ее выбирает. Психологи внушают нам, что с нами происходит лишь то, чего мы сами хотим, ведь если они допустят, что это не так, им придется сменить профессию. У меня тоже есть вариант ответа. Некоторые люди несут свое одиночество впереди себя, как отражающий экран.

*

Как человек, во-первых, замкнутый, во-вторых, преданный профессии почти до самоистязания, отец не был с нами близок, хотя, кажется, гордился Лауриным голосом. Мы редко разговаривали, но, если я о чем-то спрашивал, отец отвечал мне, как я понимаю теперь, исчерпывающе и честно. Как-то я спросил, почему он стал наркологом. Отец ответил, что собирался стать психиатром, но у девушки, с которой он тогда встречался и к которой относился очень серьезно, отец был тяжелый алкоголик. «Я видел его несколько раз, и это произвело на меня впечатление».

«Ты мечтал его вылечить?»

«Его нельзя было вылечить», – ответил отец чуть резковато.

«Ну, все равно – ты решил, что будешь лечить алкоголизм, потому что любил ту девушку», – воодушевленно заключил я, романтик.

«Я решил, чтобы буду лечить алкоголизм, потому что мы с ней расстались по моей вине», – проговорил отец терпеливо, как идиоту.

Я будто схватился за оголенный провод. Меня шибануло, отбросило и научило: не лезь. Может, потому что я понимал: большей откровенности, чем в той фразе, отец меня все равно уже не удостоит, но так или иначе разговоров по душам я с ним впредь не искал.

Отцу было всего пятьдесят пять, мы с ним в первый и последний раз отдыхали вместе на море, летом после экзаменов и перед ординатурой, в которую я не пошел. Он был в воде, когда у него остановилось сердце. Я подплыл и увидел его качающимся на волнах лицом вниз. Люди, далекие от медицины, изумлялись и ужасались, а на самом деле внезапная коронарная смерть у мужчин в возрасте от пятидесяти до семидесяти – явление, можно сказать, хрестоматийное. Правда, все знакомые нашей семьи знают, что с тех пор я не езжу к морю. И никто, кроме меня, не знает, что я не могу смотреть на море даже в кино.

Но еще один раз я его увидел – когда отец снова пришел ко мне. Теперь не на двадцать шесть лет, а только на один сон. Только чтобы вылечить.

Я пил уже больше года. Сны мне последнее время снились пестрые и безумные. Там не было ни верха, ни низа, ни глубины, поэтому я даже не сразу поверил, что этот сон – мой. Я увидел густые персиковые небеса, именно густые и именно персиковые, наверное, закатные, но только источник света был непонятно где, и из этих небес, как пишут в книгах, *соткался* кто-то тонкий и золотой, и над головой он держал занесенное копьё. И я увидел внизу небес как бы вползающего в них бесцветно-мутного змея. И тот, кто соткался, ударил змея копьём, а дальше небеса превратились в море и песок, но и море и песок были солнцем, не золотым и не розовым, а просто нежным, словно нежность – цвет. И я понял, что только что Ра победил Апопа и Ра – это был мой отец, которого я потерял в море, и, еще не проснувшись, заплакал. Я проснулся от того, что лицо стало совсем мокрым, и еще долго трясся в плаче, и еще долго все было небо, море и отец. В тот день я впервые за много месяцев не выпил. И на следующий тоже не выпил. А на третий это было уже почти легко.

*

Аккаунта в социальных сетях у него то ли не было, то ли был закрытый, так или иначе поиск не дал ссылки. Зато имелись ролики разной давности с сайтов клиник, и я смотрела их по кругу.

Всю неделю он работал в других клиниках. В первой дальше стойки регистратуры не пускал без записи турникет, а обманывать, записавшись к кому-нибудь наобум, я побрезговала. В другую вход был свободный. Самой обтекаемой фразой, без «мне нужно», хоть мой шрам и сказал много больше, я справилась о нейрохирургическом отделении и двинулась было к лифту.

Этот турникет дожидался меня одну. Он проворачивался только на впуск. За ним была одержимость. Счастье. Отчаянье.

На меня оглядывались и поглядывали, застывшую, с проклепанным шрамом на вымазанной зеленкой плечи в треть головы, а я ждала ответа: вперед или назад. Вперед или назад. Готова или не готова. Не знаю, как скоро я получила ответ, но после уже не медлила – и повернулась к лифту спиной.

*

Он сидел ко мне спиной. Стеной. Мне хотелось кинуться на эту стену, протаранить ее или разбиться.

Выйдя от Могутиной, снявшей скобы со шрама, я поднялась на седьмой этаж. Что бы ни привело меня в кафетерий, заказывать я пока не хотела и села за самый дальний столик. Васильев вышел из лифта для персонала, подошел к прилавку и через минуту уже был от меня в полуметре, но глядел куда-то поверх моей головы. Я поздоровалась. Он встрепенулся, почему-то елейным тоном проговорил: «Доброе утро!», хотя шел первый час, развернулся и сел за столик у противоположной стены. Спиной ко мне.

Его спина – это и была стена.

Минут пять мы сидели одни, не считая бариста. Васильев пил кофе и, насколько я угадывала по движениям, смотрел в телефон. Двери лифта для персонала разъехались, из них вышли Могутина и анестезиолог. Васильев махнул им, те помахали в ответ, подошли сначала к прилавку, и через пару минут они втроем сидели и разговаривали, то и дело смеясь. Гулкие стены кафетерия, душное стекло панорамного окна и музыка из динамиков высасывали смысл слов, оставляя мне лишь плотную кожуру звука.

Наконец все трое поднялись и пошли к лифту. Я смотрела ему в спину, в шею, в отблескивающую цепочку. И вдруг поняла, что хочу видеть эту цепочку так близко, чтобы она расплывалась золотым, хочу вжимать ладони в его спину, подбородок в его шею, держаться за его плечи, принять своим телом его вес, почувствовать его тяжесть – и проникновение. Меня как в кипятке окунули, я вскочила и чуть не опрометью бросилась к лифту для пациентов. И, пока он шел, осознала, что трясу головой.

Каждую среду и каждую субботу, около полудня, я приезжала в клинику, поднималась на седьмой, садилась за самый дальний столик и раскрывала книгу. Кофе-брейк Васильева «плавал» между двенадцатью и половиной второго. Если появлялась Могутина («Дашенька», как он ее называл), то с почти стопроцентной вероятностью появлялся и «Паша», и наоборот, а вслед за ними непременно появлялся и Васильев. Я больше не окликала его приветствием, когда он шел от прилавка, и он меня не замечал. За его столик всегда кто-нибудь подсаживался. Я называла их про себя «триумвират». Только «Дашенька» и «Паша» вставляли реплики в разговор, а остальные, кто бы их не заменял, всегда лишь молча и немного подавшись вперед слушали. Сколько бы ни было с ним человек, говорил всегда он один. Он говорил, откинувшись на спинку, расставив ноги, говорил не то чтобы нарочито громко, скорее как человек, который чувствует себя абсолютно свободно везде.

Осмелев от своей невидимости, я стала приходить и на четвертый, и порой Васильева проносил мимо по коридору его деловитый веселый шаг. Коллеги задерживали его на секунду, кого-то он хлопал по плечу, женщин мог на ходу приобнять. Отзвук его голоса, его смех, а смеялся он часто, и смех у него был красивый – на выдохе, а не на вдохе, как у большинства из нас, разносился по всему этажу, вплоть до лестничной клетки.

Меня Васильев не видел. Меня не было.

Леша как-то рассказал, что, по воззрениям древних египтян, Бог сотворил мир не словом, а взглядом. Он увидел, и все начало быть.

Пациент – это тот, кто существует только в кабинете и в операционной. Пациентка Клобукова, пациентка Каблукова, пациентка Коробкова. Спички в спичечном коробке.

Чего я ждала? Какую ставила цель? Мечтала ли о совместном будущем? О сексе? Об одном поцелуе? Об одном человеческом, недокторском, неформальном слове?

Тысячи раз я спрашивала себя и тысячи раз отвечала: этот человек нужен мне. Чем бы нужда ни утолялась – возможностью его видеть, возможностью о нем мечтать, настоящим, будущим, само его существование ежесекундно взрывало мир, не давая мне устроиться, успокоиться в мире. Он есть, и я не могу делать вид, что его нет. Он существует, живет, ходит и говорит, следовательно, я люблю его.

Я шла туда, где был он, признавая так его реальность, воздавая ей и служа. Но не только за этим я шла, не только за тем, чтобы видеть, но и чтобы быть там, где он. Потому что вблизи него, рядом с ним, в его присутствии была я. Я, а не мои мысли, я, а не мое прошлое, я, а не мое заикание и мой сгинувший голос. При нем время текло по-другому. Оно не то чтобы замедлялось или исчезало, оно становилось пустым. Я не ощущала себя, не осознавала себя, ни о чем не думала, ничего не помнила, ни о чем не волновалась, да и о чем было волноваться? Вот он, и вот я.

4. Солнце и Луна

В молодости любовь, даже безответная, дает крылья. В зрелости она отбирает руки. Руки, которые не могут дотронуться, теряют силу. В сорок лет безответная любовь – это любовь бессильная. Жизнь каждого встречного человека – река, в которую ты не можешь войти, как не можешь родиться заново.

Я не девочка и не безумна. Я знаю, что он никогда не полюбит меня.

И я хочу. Хочу его видеть. Хочу, чтобы он меня видел. Хочу, чтобы он меня полюбил.

Я хочу и люблю точно так же, как все остальные. Но любят ли все остальные? Большинство людей сходятся случайно, начинают жить вместе как-то между делом, расписываются по неизбежности – и вот вам она, пресловутая любовь. Так было у Леша с его женой, у моих приятельниц, возможно, у отца с матерью, я ее никогда не расспрашивала. Значит, я жду от людей того, чего нет, значит я жду от них сверх возможного, я из тех, у кого «завышенные требования». Но не может быть, чтобы любовь была моим личным бзиком, чтобы любила во всем мире одна я. Если я способна любить, значит это возможно в принципе. Один человек, способный любить, гипотетически может встретить другого, способного любить. И тогда то, чего я жду, это симметрия. Или ее подобие.

Леша, много почерпнувший от друзей жены – физиков, сказал как-то, что в основе мироздания лежит равновесие симметрии и асимметрии. То есть равновесие неравновесия, равенство неравенства. А если так, то должен же кто-то принять удар на себя?

Последнее время я часто вспоминала «полимера». У современного человека столько знакомых, что он волей-неволей запутывается, кого и как любит. А в моей жизни каждый новый человек появляется как метеорит – и становится единственным.

Может, вовсе – любит ли кто-то кого-то, и даже если бы никто никого не – любовь все равно была бы. Может, это огонь, горящий на дне морском, который вода не гасит. Я знала, что любовь можно потушить и нужно для этого совсем мало. Я могла не ходить туда, не видеть и не мечтать. Турникет выпустил бы меня. Стоило лишь захотеть вернуться. Но никто прошедший его еще не вернулся. Потому что никто еще не захотел.

*

С тех пор как женщина, бывшая моей женой, отказала мне даже в переписке, я пользуюсь преимуществом не называть ее по имени. Имя Анна мне никогда не нравилось. До такой степени, что в первый год брака я, перепробовав разные паллиативы и схлопотав за каждый, остановился на более-менее лестном «Энн». Сначала жену это забавляло, а потом почему-то перестало, и она пригрозила, что будет звать меня Эль, если я не прекращу. Я и думать не думал, что к новой эскалации приведет выбор имени для еще не рожденной дочери, и предложил «Зоя» – Жизнь, но жена сказала, что у ее бабушки в деревне Зойкой звали козу. А вот «Анна Алексеевна» звучит благородно – в отличие от «Анна Игоревна», не в обиду ее папе будь сказано. Тут взвился уже я. Если она всю жизнь страдала по вине тех, кто когда-то, придя в ЗАГС, записал сына Игорем, то да не падет этот грех отцов на головы следующих поколений. И почему имя моей дочери должно звучать благородно, если она не дворянских кровей? И вообще, что хорошего в благородном звучании? Но у моей ракеты даже не успела отвалиться вторая ступень. Во-первых, я человек неконфликтный, а во-вторых, я любил жену. Любил по-настоящему – это надо уточнить, потому что любовь, к сожалению, бывает и искусственной. А иначе как пришли бы в мою жизнь *ее* физика и *ее* дочь. И если уж выговаривать до конца, то не разлюбил. Она просто не дала мне такой возможности. Потому что только любя можно отпустить, а кто не любит – никогда не отпустит.

*

Каждое утро по воскресеньям, понедельникам, вторникам я приезжала к клинике-с-турникетом-без-подземной-парковки, вставала у магазина японских ножей через улицу – оттуда был лучший обзор, – и ждала, когда, ровно в семь тридцать, подъедет серебристый BMW, который Васильев парковал наискосок от служебного входа. Васильев выходил, взбегал по ступенькам, исчезал за вертящейся дверью. Я трогалась с места и небыстро шла прочь, до входа в метро. К окончанию его рабочего дня я сюда не приезжала. Я приезжала по четвергам и пятницам на другой конец города. В отношении клиники-без-турникета-с-подземной-парковкой я вольна была выбирать удобное время, чтобы, не видя его, просто обретаться поблизости. Вот хотя бы в детском сквере напротив, на качелях или на скамейке – смотря по тому, что не было занято. Сентябрь только начался и продлевал лето.

Я не скрывала шрам под косынкой или бейсболкой; дети, привычные к зрелищу собственных «боевых ранений», рассматривали его без страха, а что тонности некоторых взрослых, то мне было наплевать. Я читала книгу, смутно отвлекаясь на выкрики облепившей «городок» детворы. И меня не заботило, что я давно по ту сторону турникета.

*

Если та беседа в кафешке не отбила у Васильева всякое желание повторить, то он святой доктор Гааз, но сейчас он был нужен мне не как Рома, а как специалист.

За Парацельсом мы позабыли обменяться номерами, а свои профили в соцсетях и мессенджерах я пару лет назад сгоряча удалил, так что теперь с ноющей совестью отправился перехватывать сверхвостребованного хирурга между консультацией и операцией. И буквально схватил – за рукав халата, когда он энергично и вместе с тем как-то мягко и легко шел по коридору.

«Сможем поговорить? В любое удобное для тебе время».

Васильев, сощурившись, поглядел зачем-то по сторонам.

«Ладно. Зайди ко мне примерно через... через час».

Скоротать этот час я предпочел в кафе. Продолжая осваивать лифт для персонала, никогда не набитый и вообще какой-то более услужливый, я поднялся на седьмой и подошел к прилавку.

«Мне, пожалуйста, иван-чаю, да покрепче – чтоб кровь загустела и морда растолстела».

Девушка не улыбнулась – наверное, врачи тоже любят прибаутки. Я повернулся к столикам, выискивая себе место, – и увидел Лауру. Она сидела дальше всех от прилавка и читала книгу. Наверное, ее раскрутили на какое-нибудь перестраховочное, но неминуемое обследование, и все равно я капельку тревожился, чего ради она снова в клинике. Впрочем, сама Лаура не выглядела встревоженной, скорее даже безмятежной, так что и я успокоился. И все-таки немного нарочито безмятежной. Я махнул ей, но книга, как видно, была не оторвешься.

Через столик от Лауры сидела Могутина и ела что-то из лотка, пригнув над ним длинную шею, ела медленно и меланхолично. В этом было что-то лошадиное, но, приглядевшись, я увидел, что на столе рядом лежит смартфон, и нагнулась так низко Могутина над ним, а не над кормушкой – то есть лотком.

Я направился к ней джазовой походкой, разворачивая плечи почти на сто восемьдесят градусов, пусть она меня и не видела, и плюхнулся на второй стул.

«Не помешаю?» – произнес я достаточно громко, чтобы Лаура слышала, – мои скоморошества всегда поднимали ей настроение, и чем они были охальнее, тем выше, пусть она ни за что бы и не призналась.

«Позвольте вам сказать, во-первых, что вы, как медик, подаете дурной пример, совмещая прием пищи и сетевого контента. А во-вторых – что вы богиня. Я тут прохожу интенсивный курс дополнительной маскулинизации – посредством инъекций тестостерона. Вообще у меня есть одно тяжелое системное заболевание, называется «мало денег». Мне сказали, что инъекции тут бессильны, но могут помочь вливания...»

Тут лицо Могутиной будто наконец проснулось: она подняла глаза, как поднимают с одра еще вялое тело, но подняла их почему-то выше моей макушки, и ее довольно полные, длинные губы оформились в улыбку. Я сообразил, что причина не во мне, а за мной, и обернулся. За мной, почти вплотную, стоял, руки в карманах, Васильев – похоже, единственный, кому поднял настроение мой треп. Я непроизвольно глянул в сторону Лауры и увидел ее глаза, которые тоже смотрели не на меня. И сразу все понял.

*

У меня нет друзей. Одно время, в юности, мне даже приходила мысль, что от меня плохо пахнет, и этот запах обоняют все, кроме меня самой. Иначе я не могла объяснить, почему люди меня сторонятся. Да, я заикаюсь и поэтому, когда говорю, не смотрю в глаза собеседнику, но я чувствовала, что заикание не при чем. Я словно очерчена кругом. Примерно девяносто процентов людей, с которыми я, живя в обществе, по необходимости имею дело, любезны со мной, десять я почему-то раздражаю. Все те, с кем я так или иначе пыталась сблизиться, сразу делали если не шаг, то полшага назад, становясь еще любезнее или как будто даже добрее на расстоянии.

С единственной школьной подругой общение сошло на нет вскоре после того, как та вышла замуж и родила первого ребенка, а что до сокурсниц, то будущие вокалистки тут, наверное, не отличаются от будущих актрис: они *уже* вокалистки и актрисы если не в лучшем, то в худшем. Однажды я утешала сокурсницу, ревевшую из-за того, что она «жирная», а потом случайно услышала, как та говорит другой сокурснице: «У этой глисты Клобуковой вообще колоратуры нет, голос такой же плоский, как она сама». Но в целом ко мне относились ровно, можно даже сказать хорошо. Для того чтобы к тебе хорошо относились, надо как можно реже говорить, а уж если говоришь, никому не возражать. Так не наживешь врагов, правда, друзей тоже. Кроме того, пение поглощало всю энергию, на него уходили все мои силы, и их уже не хватало ни на то, чтобы обзаводиться друзьями, ни на то, чтобы поддерживать дружбу, которая изредка прорастала сама, как травинка из-под бордюра.

Постоянного концертмейстера, этого считай приложенного к профессии наперсника, у меня не было, я работала с теми, кого находило агентство. Мое расписание в детском центре исключало пересечения с другими преподавателями. А для коллег по храмовому хору я выказывала явно недостаточно церковности.

Помогая Леше вычитывать научные монографии, которые он издавал, я узнала кое-что из квантовой физики. Людей можно уподоблять субатомным частицам. Среди нас есть «протоны», положительные, стабильные, основательные, правда, они не знают, что состоят из кварков, а если и знают, то предпочитают не вспоминать. «Нейтроны» всегда занимают нейтральную позицию, о чем ни спросишь – «я как протон». «Электрон» отрицателен, бесструктурен, неуловим, сплошное облако вероятностей; он презирает и положительного протона, и небыстрого разумом нейтрона, он бы с радостью не имел ничего общего с этим ядром, но, увы, электромагнитное взаимодействие сковало их одной цепью. Ровней себе электрон признает разве что фотоны, с которыми есть чем обменяться, но по-настоящему ему интересны только другие электроны, только к ним он стремится, но от них и отталкивается. «Фотоны» несут свет, у них нет ни заряда, ни массы, поэтому они самые быстрые, а между тем стабильнее даже протонов. О «бозонах Хиггса» можно сказать коротко: это праведники, которыми мир стоит. И есть «нейтрино». Масса у них имеется, но низкая, а электрического заряда нет. Они могут участвовать только в слабых взаимодействиях, и вообще связь с остальной материей крайне слаба, они просто пролетают ее насквозь, не давая себя ни заметить, ни ощутить, за что их называют их «призраками Вселенной». Никто, в том числе они сами, не знают толком, зачем они нужны. Некоторые считают, что нейтрино забирают у других частиц энергию, но теряют ее на своем пути.

Я – нейтрино. И порой мне кажется, что не столь важно, притянешься ты с другими или оттолкнешься, лишь бы другой тебя ощутил.

*

Час истек, я шагнул к кабинету Васильева, а сам подумывал, не смыться ли.

Две недели назад я встречался с бывшим однокашником, еще сегодня готовился к разговору с нейрохирургом, сделавшим операцию моей сестре, но теперь мне предстояло увидеть мужчину, которого любит Лаура. И как, скажите на милость, с ним разговаривать?

«Да-да, входите, не стесняйтесь!..» – впустил из-за двери Васильев очередного пациента и в первый миг удивился при виде меня, но тут же вспомнил.

Я уселся в пациентское кресло, низкое, мягкое, страшно уютное.

«Ну», – сказал Васильев приветливо.

До доктора Гааза он недобирает всего пару очков.

Нет, это был все тот же знакомый, потерянный на четверть века и обретенный Рома Васильев, Лаурино чувство ничем его не отметило. Бог весть зачем к нагрудному карману халата у него была прицеплена белая шариковая ручка. Проследив за моим взглядом, Васильев вынул ее и, тоже без очевидной необходимости, положил на стол – белую ручку, вдоль которой краснело название какого-то зарубежного конгресса, увенчанное кадуцеем.

«Между прочим, кадуцей стал эмблемой медицины по недоразумению – его перепутали с жезлом Асклепия», – сказал я.

«Да ладно!..»

«Кадуцей – атрибут Гермеса, или Меркурия, а он считался покровителем много кого, только не врачей. Ну да Бог с ним, перепутали и перепутали. Вообще-то я по поводу результатов МРТ сестры. Скажи, там ведь наверняка есть еще что-нибудь *такое...*»

«*Такое?*»

«Ну, связанное с заиканием. Допустим, нарушения нейронных связей в структурах, которые контролируют речь... Извини, если чушь несу – многое уже подзабыл...»

«Нет-нет, не чушь, отнюдь. Действительно, нарушения есть: увеличен объем серого вещества в зоне Брока, соответственно, сигнал слегка интенсивнее... в общем, все как обычно у заик».

«И больше – помимо заикания... ничего?»

«А чего бы ты хотел?»

«Видишь ли, незадолго до рождения Лауры у меня начались очень странные приступы – я терял сознание минут на десять-пятнадцать, то есть я имею в виду глубокие обмороки, и прекратилось это после того... не важно, после чего, но само прекратилось. Я и подумал...»

«Вдруг МРТ показала у сестры какую-нибудь аномалию, которая объясняет и твои обмороки? Не, ничего похожего. Возрастазависимая доброкачественная эпилепсия – я про твой случай, – всегда проходит сама. ЭЭГ тебе делали?»

«А как же: помню, интересно было – сидишь в этих проводках... Но, если бы пароксизмальная активность, мне бы поставили диагноз и выписали таблетки, и все стало бы так же ясно и просто, как для тебя сейчас».

«Действительно».

«То-то и оно, что меня обследовали по полной – родители как-никак врачи, – естественно без МРТ в 85-м году...»

«Вообще-то эпилепсия не всегда выявляется при ЭЭГ, а вот МРТ, может, что-то и покажет. Сделал бы, а?»

«Любишь ты магниты».

«Ну так на то я из магнитного города. – Это была его первая при мне шутка со студенческих времен. Васильев глянул на часы. – Слушай, у меня сейчас пациент...»

«А можно мне остаться?»

«Хочешь почувствовать, чего себя лишил? Ладно, только халат накинь».

Вошел мужчина, которому я сначала дал лет шестьдесят, но, приглядевшись, снизил возраст до своего – просто он был уже совсем седой и лицо худое, с двумя глубокими складками от носа ко рту.

Преображение в доктора, свидетелем которого я становился уже второй раз, прямо-таки восхищало, как восхищает трюк фокусника. Васильев со мной и Васильев с пациентом были два разных человека, которые по-разному говорили, по-разному сидели, и если первого описать мне было трудно, то второго – легко. Он и сам был легкий, внимательный и интеллигентный до сладости, какой-то ласково-бодрый.

«Ну, рассказывайте», – по шаблону пригласил Васильев, тот стал, заминаясь, рассказывать, Васильев вставлял в заминках вопросы, пациент еще больше мялся, отвечая, но вскоре я уже не слушал. Я еще переваривал слова Васильева о возрастазависимой доброкачественной эпилепсии, которая всегда проходит сама. Словно благословляющее воображение крестной покинуло меня, словно теперь окончательно покидала меня сама Лаура-старшая. Я *исцелился*, потому что перерос. И сейчас перерастал что-то. И мои пальцы как будто росли, хотя куда уж дальше. Нет, они не росли – они тянулись. Вернее, стремились. Я ими не шевелил, но теперь мне казалось, что в них железо, а где-то рядом – магнит. Не принимая особо всерьез ни настойчивое стремление пальцев, ни свой испуг, я рискнул пошевелить ими, чтобы магнит, который я, конечно, ни в коем случае не принимал всерьез, обнаружился. *Магнитный город*, глупо твердил я себе. И сделал шаг к креслу, в котором сидел пациент Васильева, встал почти вплотную позади и стал водить указательным пальцем в нескольких миллиметрах от того места, где скрывался магнит. Пациент обернулся рывком, и я поймал в его взгляде панику.

Васильев нахмурился.

«Здесь», – только и сказал я.

Мужчина вертел головой, словно за ним вилась муха, а мой палец назойливо следовал всем поворотам и не отступал. Все еще насупленный Васильев жестом успокоил пациента, подошел с моей стороны и посмотрел по направлению пальца.

«Здесь, – повторил я. – Не знаю, что, но здесь. И на три миллиметра вглубь».

«Окей. – Васильев вздохнул, потер лоб и, перед тем как вернуться на свой стул, процедил: – Подожди меня в коридоре».

В коридоре я его не дождался. Мужчина вышел минут через пять, зыркнув меня, за ним в кабинет сразу вошла женщина. Но, по большому счету, я его и не ждал, я о нем вообще не думал. Я думал только о том, что *это*. Нет, не так: думанием совершившееся во мне можно было назвать лишь постольку, поскольку снаружи я молчал. Слово «рефлексия» подходило сюда лучше: я обращался к самому себе и самому себе отзывался эхом. Что это? – что это... Как это понимать? – как это понимать...

Притихший и схоронившийся по-страусиному, я читал перед сном биографию Бора и размышлял о принципе дополнительности, а утром отвез Караеву новую партию, на обратном пути заскочил в хозяйственный пополнить расходные материалы, сочинил «редакторскую колонку», снова читал про Бора, лукавя, что не замечаю безостановочный пинг-понг с эхом и что подавать уже почти нет сил. Что это? – что это...

На вторые сутки (игра шла и по ночам, сквозь сон и вместо сна) позвонил Васильев.

«Удивляешься, откуда у меня твой номер? – Он хмыкнул. – От Парацельса. Сначала пробивал тебя по соцсетям, потом догадался загуглить твою фамилию плюс “Парацельс”, и почти сразу выскочил замороженный, как я понял, сайт издательства, а там твой номер в контактах. Про издательство ты мне, кстати, не говорил...»

«Мог узнать и через Лауру – у вас же в базе ее номер».

«Нет-нет, – Васильев торопливо посерьезнел, – никаких звонков пациентам по личным вопросам, это грубое нарушение профессионализма. – Он сделал паузу, по весу которой я догадался, что лишь теперь начинается главное. – Слушай... Помнишь, ты ткнул пальцем ему в затылок и сказал “здесь” и про три миллиметра?...»

«Помню». – Я сразу почувствовал себя отбитой ракеткой.

«В общем... – Васильев прочистил горло, как бы от всякого предубеждения и всякой личной заинтересованности. – Там, куда ты ткнул, и именно на той глубине в затылочной доле проходит Superior longitudinal fasciculus, то бишь верхний продольный пучок белого вещества. И ровнехонько там анапластическая астроцитома».

Я сел на пол и раскинул ноги – и понял, каким был идиотом, не сев на пол и не раскинув ноги тут же в коридоре, выйдя от Васильева. Говорить я не мог, поэтому молчал, а Васильев молчал, потому что ждал, пока мог.

«Как ты это делаешь? – Иногда по телефону не только слышишь, но и видишь, и я увидел, что он прищурился. – Если не секрет».

В чем секрет твоих упражнений?

Тут я почувствовал, что вновь, пусть на время, человек, а не ракетка, и вздохнул поглубже.

«Боюсь, что это и правда секрет. И боюсь, что я его не знаю».

*

Как только он приблизился к их столику и встал позади Леша, я схватила сумку, вскочила и чуть ли не понеслась к лестнице. Леша наверняка меня видел, и я ждала, что он позвонит через полчаса, через час, в общем, так скоро, как расстанется с двоими из триумвирата, и обдумывала правдоподобный ответ. Но Леша не позвонил и вечером, и на другой день. Я тоже ему не звонила. Мне не хотелось действовать. Мне хотелось, чтобы кто-то, что-то действовало теперь за меня.

Я часто задумывалась, почему крестная, вложившая в меня столько своей любви, не вложила заодно столько же своей любви к Богу. Почему, читая мне адаптированное для детей Евангелие, уча молитвам и водя в храм, не передала свою веру. Она была кроткой – и ее вера, и сама крестная, которая даже внешне не напоминала трафаретную испанку,

слишком кроткой, чтобы пламя перекинулось на того, кто рядом. И, как художник, меньше всего полагалась на слова, а я, которой слова давались с боем, именно потому и была в их самодурской власти и без них не видела.

Леша считает вслед за своим Парацельсом, что вера и воображение по сути одно. Мое воображение всегда было камерным, как мой голос. Голос умер – или впал в кому. Но ведь это значит, что та самая камера, каморка, келья, комната чудес стала теперь просторнее.

Я знаю, что он никогда меня не полюбит, и я хочу, чтобы он меня полюбил. Что это – двойной Меркурий? Возможность? Воображение?

*

На следующий день у Васильева не было операцией, только приемы, и почти весь этот день мы провели вместе. Я упирал палец туда, куда притягивала его голова или шея пациента, Васильев фотографировал место и мой указующий перст, открывал в компьютере 3D-модель мозга, что-то писал на листочке. Мы действовали слаженно и оттого, казалось мне, еще загадочнее для самих себя. Единственным, что меня мучило, была паника, каждый раз, несмотря на предупреждающее «Не волнуйтесь!», начинавшая метаться в глазах человека, пока мы проделывали нашу, по определению Васильева, фиксацию. Хотя нет, это было не единственным и даже не первым. Каждый раз, когда пальцы откликались на притяжение «магнита», я до боли чувствовал, насколько не понимаю и, главное, не хочу того, что происходит и что теперь уже нельзя сбросить со счетов. Почему не хочу, я, прикрываясь отсутствием передыхов в нашем эксперименте, себя не спрашивал, хоть и знал, что просто оттягиваю, как оттягивают резинку, которая тем сильнее выстрелит.

Когда из кабинета вышел последний пациент, мы почему-то были вымотаны и еще некоторое время молча сидели, Васильев на своем стуле, я в кресле.

«Держи. – Он протянул мне шариковую ручку. – На память о недоразумении».

Васильев вызвался отвезти меня, предупредив, что по пути мы подхватим Соню из школы. В подземном гараже мы подошли к переливающемуся, как ртуть, BMW, о модели которого я, никогда не водивший, едва ли мог что-то сказать, а о качестве догадывался. Васильев как-то круто взял с места и гнал, пока я не ойкнул, – то ли торопясь к окончанию уроков, то ли еще не отойдя от сегодняшнего, то ли обдумывая дальнейшее. Последнего варианта я боялся. Он стучался и в меня, этот вариант, это «дальнейшее», и я вообразил себя на подлодке, люк заперт, затвор надежен...

Мы на секунду затормозили у обочины, и кто-то, чью легкость, компактность и хорошее настроение я ощутил даже спиной, юркнул за мое кресло. И я был страшно благодарен ему, то есть ей.

«Это дядя Леша, – сказал Васильев вместо приветствия, но было видно, что они друг другу рады и без формальностей. – Мы его подбросим».

«Соня, приятно познакомиться». – Она протянула руку, и я пожал ее:

«Алексей».

Соня была хорошенькая, от отца ей достались глаза, а нос был не римский, а прямой аккуратненький – как у Лауры. Меня словно ожгло: почему я не познакомил их, Васильева и Лауру, двадцать пять лет назад, в последний год, когда мы с ним общались? Лауре было всего четырнадцать, но не век же ей оставалось бы четырнадцать, и в шестнадцать она была бы такая хорошенькая, что куда там Соне, да она и сейчас хорошенькая, а теперь могла бы быть Сониной... Впрочем, я почему-то не сомневался, что у них с Васильевым родился бы сын.

«Какая у вас Лабубу симпатичная», – светски сказала Соня.

«Симпатичный. Спасибо!»

«Вообще-то, Лабубу – девочка», – заметила Соня авторитетно.

«Не может быть!» – опешил я.

Васильев скосил взгляд от дороги.

«Да не, по мордахе видно, что пацан».

«В медицинский собираешься?» – спросил я, заполучив теперь мяч на свое поле.

«Вообще-то в университет госуправления».

Я только помычал, а Васильев слегка качнул головой на сторону с неким выражением, которое следовало понимать как «вот так-то, а ты думал».

«Как твоя дисперсия?» – спросил он дочку, может, отчасти чтобы вернуть себя и ее на землю.

«И не говори! Это был трэш! Я и так, и сяк эту долбаную призму верчу, а лучи вообще не преломляются! Я такая: может, призма бракованная, а Жаба такая губки бантиком, типа, не призма, а кое-кто другой. И все такие: гы-гы-гы...»

Васильев насупился почти так же мученически, как впервые наблюдая в действии мой палец.

«А ты?»

«Я – что, я типа: ну-у-у, значит, в классе окно отличается от того, которое было в комнате у Ньютона. В семнадцатом веке-то и окошки были поменьше, и стекла совсем другие. И пошла на свое место».

«Молодчина». – Васильев чуть ли рассмеялся от восторга.

«А знаешь, как звали Ньютона?» – спросил я, обернувшись к Соне.

«Исаак», – подчеркнуто невозмутимо.

«А по отчеству?»

Она широко распахнула глаза, а потом нахмурилась. Наблюдать эту еще детскую мимику было одно удовольствие.

«Исаакович, – произнес я именно с этим удовольствием. – Его называли в честь отца, который умер до его рождения. А ты знаешь, что Ньютон был алхимиком?»

«Как дядя Леша», – вставил Васильев.

Соня томно потянулась к отцу и обвила руками его шею вместе со спинкой сидения, Васильев оторвал одну руку от руля и сжал ее запястье. Мне показалось, что я сейчас заору, и я отвернулся, якобы не желая смущать.

Васильев высадил меня, как я попросил, у метро. Я посмотрел на Соню, скорее всего, в последний раз.

«Что ж, удачи! Красивая чиновница в государстве большая сила».

Она засмеялась, Васильев тоже – он наконец-то совсем расслабился. Чего нельзя было сказать обо мне. Теперь не было ни пациентов, ни Сони, и я с мазохистки бессмысленной неотвязностью спрашивал себя: почему? И *в какой момент?* Эти два вопроса взаимно отражались, и ответ на один означал ответ на другой. Если я установлю, в какой момент появилась моя «магнитная аномалия», я пойму и... Вдруг я вспомнил, как поднес Лабубу именно к тому месту на лице Лауры, куда иррадиировала боль. Не к самому сдавленному корешку, не к точке А, откуда выходит болевой импульс, а к точке В, куда он прибывает. Я угодил в нее безошибочно и понял это, когда сестра сразу как-то болезненно-блаженно прикрыла глаза. Но значит, *этого* тогда еще не было! Вел ли меня мой гений, или повышенная эмпатия, или братская любовь, но вело что-то другое и не туда. Вело не к причине, а к следствию. Но и приведи к причине, вылечил бы Лауру все равно не я. А Васильев.

В метро был самый час пик, люди теснились ко мне, к моим бессердечным пальцам, и я покрепче сжал кулаки.

*

Отпирая дверь, я услышала два голоса – мамин и молодой женский.

Они стояли в прихожей, очевидно, прощаясь, мама ко мне лицом, не на меня обращенным, замороженно-страдальческим, Аня – Лешиним светло-русым затылком и Лешиними широкими плечами. Последний раз я видела ее двенадцатилетней, теперь передо мной возвышалась на целую голову восемнадцатилетняя, но мне не нужно было узнавать, чтобы понять.

Мама заметила меня, Аня обернулась.

«Я уже ухожу, – поздоровалась она и добавила с высоты роста и всех тех, привилегий, о которых было известно только ей: – Не говорите вашему брату, что я здесь была и что я вообще в Москве».

«Хорошо, я ничего не скажу вашему отцу».

Тыкать этой взрослой девушке я не чувствовала себя вправе, а она явно чувствовала, что я не чувствую. Не удостоив нас больше ничем, Аня вышла за дверь, и с мамы будто спали чары.

«Представляешь, она внушала ребенку, что Леша параноик!»

«Какому ребенку? Кто? Аня?»

«Да не Аня, а *эта* – ее мать! Вот Аня и хотела узнать, есть ли у нас в роду психические заболевания. Нет, ну как тебе такое?!»

«Значит, она специально приехала в Москву?..»

«Господи, ну нет, конечно! Аня здесь уже год, учится в каком-то новом университете – она сказала, но у меня вылетело из головы. Живет в общежитии, я предложила ей жить у нас, если уж она не хочет у Леша, – а ты бы как раз к нему, временно, вы же так замечательно ладите!.. – Мама тут же покраснела и на миг, всего на миг потупилась, и я приняла извинение, понимая, что большего не дожусь. – Но все равно это уже не важно, потому что она наотрез отказалась. Видно, мать ее и против нас настроила».

Много лет понадобилось на то, чтобы научиться возражать одному только Леше, чему он меня, порой кажется, учил умышленно, и я промолчала, хотя знала, что не вся правда здесь мамина. Аня Большая входила в десять процентов, которых я по неизъяснимой причине раздражаю, но, как только у них с Лешей стало неладно, я запретила себе всякое подсуживание. Насколько мало они с Лешей друг другу подходят, как всегда, было очевидно с самого начала для всех, кроме тех двоих, которые только и могли предотвратить беду. Хотя «бедой» Лешин брак можно назвать разве что для краткости и в угоду профанам.

«Я Лешу не обеляю, – смягчилась мама больше ради меня, которую минуту назад обидела. – Но “паранойя”!.. Леша просто увлечен своей... – Я мысленно подсказала “работой”, но, наверное, мы обе почувствовали, что слово фальшивит. – Своим *делом*, и ваш папа был точно такой же!»

«Папино дело приносило пользу другим людям и деньги в семью».

«Леше просто не повезло. Кому, как не тебе, это стоило бы понимать. Мои дети самые талантливые, самые...»

Я еле успела скрыться в ванной, чтобы больше ничего не слышать.

*

Васильев позвонил спустя неделю. Оказалось, я с точностью до миллиметра локализовал одну менингиому, одну аденому гипофиза, два стеноза и два очага эпилепсии. Васильев доложил мне это сухо от волнения и на мое, пожалуй, немного садистское «Что будем делать?», видимо, пожал плечами, потому что дальше сказал только: «Ладно, на связи» и связь отключил.

А к вечеру позвонил Черновицкий.

«Алексей Алексеич, как поживаете? Рад вас слышать! Надо бы повидаться. Не зайдете ли ко мне, когда в следующий раз будете у Роман Валентиныча?»

Рома-предатель, подумалось почти рефлексивно, но я тут же себя одернул: о том, что наш эксперимент – строжайшая тайна, уговора не было. И все-таки мне казалось, что Васильев мог бы сам сообразить, в отношении Черновицкого уж точно. *Точно?* Но для *кого?* По пути на встречу с Черновицким я впервые задумался, почему так не люблю и не уважаю этого человека, между прочим, давшего мне работу, за которую платил, может, не очень щедро, но по-своему регулярно. Почему я вообще рано или поздно начинаю не любить тех, кто сделал мне что-то хорошее? Но вернемся к Черновицкому. Он мог стать врачом, мог стать ученым, однако с самого начала поставил на денежный интерес, но штука в том, что, как не бывает реверса без аверса, так и всякий интерес Черновицкого сначала показывал денежную сторону, а потом обнаруживал еще и неденежную – словом, чем бы Черновицкий ни занимался, ему всегда было и интересно, и прибыльно. Даже пудрил людям мозги гомеопатией он из чистого интереса, в своем роде изучая некую сомнительную идею как объект, – интереса бескорыстного, поскольку корысть удовлетворяло его место директора клиники. Черновицкий жил так, как мог бы жить я, с той лишь разницей, что я бы не пудрил, а развивал. Развивал человеческие мозги, уча их воспринимать то, чего еще нет, и создавать это.

Я думал сначала навестить Васильева, но тот был на операции, а я вспомнил, что собирался проверить, распространяется ли моя «магнитная аномалия» за пределы ЦНС, и направился в отделение онкологии. В коридоре ожидали своей очереди четыре человека: мужчина лет сорока, со студенисто-вялым лицом, почему-то стоял у стены, а на двух диванах разместились три женщины: пожилая, моя ровесница и совсем молодая, лет двадцати восьми. Мужчина и две старших смотрели в телефоны, молодая – в окно, или просто сидела вполоборота к окну. Я прошелся мимо них, незаметно чуть растопырив пальцы висящих по швам рук. Только в последний момент, когда было уже поздно, до меня дошло, что я не хочу, не хочу, не хочу, чтобы пальцы сработали. Но они сработали. У мужчины тяга шла от поясицы, и я почти услышал: почка. У пожилой – от печени, я только удивлялся откровенности, с какой выкликали себя органы. У пятидесятилетней я ничего не почувствовал и еле сдержался, чтобы не выпалить на радостях: бегите домой, прочь отсюда, а по дороге купите пирожных, чтоб крем пожирнее. С молодой была неясность: палец притягивало, но не в какую-то определенную точку. Вдруг пятидесятилетняя поднесла телефон ко рту и произнесла, чеканя слоги: «Калоприемник!» Я плюхнулся на диван между ними.

«Мой сосед установил у себя “умный дом”. – Я говорил, вертя головой вправо-влево, то есть беседуя как бы с обеими. – Встречаю его: ну что, Миш, рекомендуешь? “Ой, ни в жизнь! Представь, сижу я, значит, вечером в своей умной гостиной. “Алиса, принеси пива!” А она мне: “Сам принеси. И между прочим, это уже третья бутылка”. “Не твое собачье дело! Я у себя дома!” А она мне: “Я тоже у себя дома”. Не, ну каково? Так она меня скоро бить начнет, как Настя!” Настя – это его бывшая».

«Я тоже Настя». – Молодая полуулыбнулась.

«Неужели? Потрясающе! В общем, целый день пытался себе представить, как Алиса бьет Мишу. Знаете, в физике есть понятия близкодействия и дальнего действия...»

«Вы физик?» – спросила старшая с какой-то пренебрежительной тяжестью.

«По первой жене».

«А по второй?» – тяжелее.

«Пока не знаю».

Старшая хмыкнула, Настя засмеялась. Тут из кабинета выдвинулся старик, старшая встала ему навстречу, и я понял, что радовался не по адресу. Стоило старику с помощью дочери чуть отойти от двери, как в нее заскочила Настя.

Вид у Васильева был полностью выжатый, так что я секунду поколебался, но все-таки сказал:

«Капнул, значит?»

Васильев тоже заговорил не сразу, сначала вдохнул и выдохнул. Усталость в голосе даже пришлось к месту, словно он уже устал вразумлять.

«Твой *дар* надо пустить в дело»,

«А зачем? Какой от него прок? Ну, чувствую я, где поломка, дублирую диагностирующую аппаратуру. Вот если бы я мог эту поломку исправить – о да, тогда мы назвали бы это высоким словом “дар”! Смотрел фильм “Зеленая миля”? Там такой здоровенный негр исцелял все хвори...»

Васильев смотрел на меня, опустив руки в карманы и чуть пригнув голову – исподлобья, как бы отгадывая. Не веря в мою несообразительность.

«Ты чувствуешь пациента. Врач – не тот, кто вылечивает...»

Он запнулся – хотя нет, не могу представить запнувшегося Васильева, он себя придержал. А с другой стороны, могу я представить Васильева, размышляющего над тем, что такое врач?

Мы стояли в ординаторской, врачи и медсестры заходили и выходили, косясь на меня украдкой, но так, словно успели договориться между собой, что меня здесь нет. Наверняка они уже знали. Но главное, мне показалось, что эти их взгляды по касательной, которых как бы нет, были извиняющимися. Или сочувствующими. Иной раз трудно различить.

«Парацельс говорил, что пророк и врач имеют огненную природу», – сказал я вдруг, не знаю зачем.

И тут Васильев сделал то, чего никогда не сделал бы хорошо мне знакомый тридцать лет назад Рома Васильев. Он выдернул правую руку из кармана и швырнул в стену что-то скомканное. Худенький плешивый врач, как раз наливший себе в кружку кипяток из бойлера, отпрыгнул. Мы с ним одновременно посмотрели *туда*. Это была хирургическая шапочка.

*

Черновицкий то ли помолодел, то ли зум его старил.

«Алексей Алексеич, рад наконец-то встретиться вживую! Как ваша сестра? И знаете что? По-моему, тут со стороны Романа Валентиныча застряла большая стрела Купидона!»

Вот память-то слонячья, подумал я.

«Не будем ходить вокруг да около. Алексей Алексеич, я думаю, нам с вами надо обмозговать сообща одну комбинацию. Смотрите. К нам приходят люди. Так? Люди хотят выяснить, из-за чего им плохо, и сделать так, чтобы снова стало хорошо».

Я кивнул, признавая правдивость наблюдения.

«Для того чтобы выяснить, из-за чего им плохо, они готовы платить любые, ну или почти любые деньги».

Не «для», а «ради», поправил я мысленно, а сам опять кивнул.

«А теперь смотрите внимательно. Существуют методы инструментального исследования. Хорошо, мы сделали человеку МРТ и увидели эту самую точку, откуда ноги растут».

Я и здесь внес мысленную правку, а сам развел руками: логика – не подкупаешься.

«Увидели ее достоверно. Но это *мы* увидели, а сам-то человек лежит, значит, в этом во всем и ничего не видит, и он ничего не понимает, и ему страшно, и тэдэ и тэпэ. А теперь другая картина. Человек сидит в кабинете, ну, скажем, у Роман Валентиныча, входите вы, тоже доктор, смотрите ему в глаза: “Как вы себя чувствуете, мой хороший?”, находите эту проклятую точку, и у человека сразу чувство, что его с его проблемой здесь знают, что ему здесь точно помогут, что ему точно снова станет хорошо, надо просто немножко потерпеть. И заплатить. И дальше он расслабленный идет на МРТ, потому что тот же доктор, то есть вы, сказал, что надо *на всякий пожарный* сделать МРТ, идет уже

совершенно в другом настроении. А когда ему потом девочки выставят счет, там будут отдельной строкой, но как бы между прочим значиться и ваши услуги. Потому что вы же отдельный специалист *за все*. Роман Валентинович или, там, кто-то сам по себе, а вы сами по себе. Как-нибудь мы вас оформим, ну, скажем, терапевтом, надо будет вам только пройти курсы переподготовки, чтобы была лицензия и в ней черным по белому: “терапевт”. И никто уже не спросит постфактум, какого рожна меня у онколога или у нейрохирурга смотрел терапевт, – потому что вы нашли эту трижды проклятую точку!»

Я не сразу, а как бы по размышлении кивнул.

«Если стоит задача развести на бабло, зубов становится шестьдесят четыре», – произнес Черновицкий, выделяя каждое слово, и засмеялся.

И я тоже засмеялся и смеялся даже дольше него, потому что у меня была истерика, которую Черновицкий, впрочем, не распознал.

«Вам что-нибудь говорит фамилия Будберг?» – спросил я, унявшись.

Черновицкий с улыбкой откинулся в кресле. Он молчал, и я молчал.

«Ну?» – сказал наконец Черновицкий, не перестав улыбаться.

«Простите?..»

«Ну, я вас слушаю...»

Я понял, что он принадлежит к числу людей, неспособных признать даже малейший дефицит в своих сведениях. Я что-то залепетал – истерика и весь этот день, сначала у кабинета онколога, потом в ординаторской с Васильевым, меня истощили – и тут увидел на столе, за которым сидел Черновицкий, ближе к своему краю, визитку «Парагранума». О том, как она попала к Черновицкому, с которым я познакомился спустя год после ликвидации издательства, я решил подумать, когда отдохну. На своих новых правах «золотого мальчика» я взял визитку и сунул в карман.

«Насчет курсов я вам скину ссылочку», – сказал Черновицкий, в свою очередь, «не заметив»; все-таки недаром нас друг к другу прибило.

Я встал, молча поклонился, опять же не вызвав недоумения, и вышел в приемную. Там я зачем-то достал визитку и увидел, что обозначился. Не Клобуков Алексей Алексеевич, а Каблукова Александра Алексеевна, и не издательство «Парагранум», а фонд «Пара глаз».

*

«Алло, Александра Алексеевна?»

«Да-да», – ответил нетерпеливо-усталый голос очень занятой женщины.

«Здравствуйте! Я хотел бы больше узнать о вашем фонде...»

Нежизнеспособный предлог – сейчас она пошлет меня в интернет и будет права, – но я просто обязан был воспользоваться визиткой.

«Простите, я должна спросить: как *вы* узнали о нас?» – Голос даже потеплел.

«От Михаила Львовича Черновицкого».

Ход был неподготовленный, но я чувствовал, что верный.

«О, Михаил Львович наш многолетний, чуть ли не с самого основания, и на сегодняшний день главный спонсор! Чудо-человек! Без его помощи даже не знаю, где бы мы были. Знаете ведь, как сейчас с корпоративным фандрайзингом, особенно если НКО ориентировано на помощь не, допустим, больным детям, а взрослым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации...»

Примерно с «фандрайзинга» я уже не слушал. Вот так так, повторял я через каждые несколько секунд, будто мне отрезали половину мозга, в которой было все чуть более содержательное. Вот так так. Вот так знаешь человека и совсем не знаешь – отрастал мозг, новый и лучший. Вот так думаешь, что знаешь, а выходит, ты знал только половину. Половину человека, половину мира.

«Ой, вы куда-то пропали!»

«Пропал, – улыбнулся я. – Вспоминал Михаила Львовича. Чудо-человек».

«Такими мир держится».

«Держится, – опять аукнулся я и взял себя в руки: – Визитки у вас красивые».

«Да?! А я как раз по пути к Михаилу Львовичу забрала из типографии свежие. – Она словно сама себя толкнула ногой под столом и сначала выпустила некое звено, а потом вставила обратно. – Мне у них в клинике делали операцию на позвоночнике, сложную, а посчитали только работу хирурга, без анестезиолога и без анализов – клиника-то, сами понимаете, не из дешевых, ну вот я и заехала благодарить. Заодно оставила у Михаила Львовича стопку – на случай, *если вдруг кто зайдет...* сами понимаете».

Еще как понимаю: Рокфеллер вроде меня.

«Теперь немного о том, откуда название. “Пара глаз” – это не только про то, что достаточно иметь пару глаз, чтобы увидеть чужую беду, главное, мы помогаем людям, в силу обстоятельств вынужденным жить на улице и потерявшим зрение. Знаете, травмы, химические отравления, инфекции...»

«А я-то думал, – на самом деле я не думал, – что “Пара глаз” – отсылка к представлениям древних египтян о том, что Бог сотворил мир взглядом».

«Вау, я не знала! Потрясающе! А можно я использую это для странички “О нас”: “Достаточно пары глаз, чтобы сотворить мир”?»

«Ради Бога», – сказал я, не имея намерения каламбурить.

«Отлично, спасибо! И да, возвращаясь к Михаилу Львовичу, он для нас незаменим: финансовая поддержка само собой, но основное – программа бесплатного лечения в их клинике...»

Интересно, подумал я, она замужем.

«Алло, алло! А как к вам можно обращаться?»

«Алексей».

«Очень приятно! Давно вы знаете Михаила Львовича?»

Я задумался, что ответить, и опять куда-то пропал.

«Алло, алло! Простите, Бога ради, мне действительно очень приятно было и познакомиться, и поговорить, но вообще-то я сейчас еду в аэропорт встречать мужа и уже проскочила один поворот. Давайте я вам...»

«Нет-нет, не стоит! Мы же оба знаем Михаила Львовича, а это значит, что мы всегда на связи».

«А вообще-то вы правы. – Ее явно удивила непререкаемость этой хромой логики. – Все-таки Михаил Львович...»

«...Это Михаил Львович», – подвел я черту.

*

«Помнишь, ты рассказывал о том, как Парацельс понимал воображение? – выпалила я, перепрыгнув через “алло”. – Что он считал его могущественнейшей силой?»

Наверное, на «Парацельс» Леша делает стойку рефлекторно, не успевая растеряться.

«Парацельс писал о трех могущественных силах: воображении, вере и воле. Но весь шестнадцатый век был такой! А Бруно? Бесконечность Вселенной и безграничность человеческой мысли! Не будь второго, не было бы и первого, не поверь гуманисты шестнадцатого века в силу воображения, математики и физики семнадцатого века не смогли бы помыслить бесконечное и ничем не заполненное математическое пространство, представить точки и линии как вещи, а вещи как точки и линии!»

«Бог с ними, с точками и линиями! Как воображение *работает*?»

Тут растерянность догнала его.

«Как работает?.. Ну-у, а как работает молитва?»

Может, брат хотел выиграть время, но я ответила с ходу, к своему собственному удивлению: последний раз я молилась в детстве, повторяя вслух за крестной, как повторяют, уча иностранный язык.

«Считается, что Бог ее слышит. – И добавила, продолжая себя удивлять: – А ты веришь, что Он нас слышит?»

То же, что подсказало мне ответ, подсказало теперь объяснять Лешино молчание не растерянностью. И вдруг я увидела: он знает; знает, что стоит за моим звонком, за словом «воображение», которое прежде я обходила, знает обо мне больше, чем я рассказывала ему.

«Бог нас слышит, – произнес наконец Леша то ли осторожно, то ли, наоборот, утвердительно. – Просто порой нам надо дойти до дна, потому что тогда мы рождаемся заново. И Вселенная рождается заново вместе с нами».

Меня слегка дернуло, словно брат жонглировал булавами и одну уронил. Недаром я остерегаюсь философствований и богословствований – вовремя свернуть в сторону от безвкусицы на моей памяти умел только Андрей Николаевич.

«Про Вселенную было уже как-то слишком...»

«Слишком что?»

«Пафосно».

«А пафос отнюдь не дурная вещь. – Леша явно чуть обиделся. – Пафос, между прочим, переводится как “страсть” или “страдание”».

«Между прочим, я знаю», – чуть обиделась я.

Он опять замолчал, но не от обиды, а будто чтобы дать мне услышать мною же сказанное: знаю, как переводится «страсть», или «страдание», или одно в другое, или оба они во что-то третье.

«И все-таки как работает воображение?» – опомнилась я.

И опять промедление было чем-то совсем другим, будто Леша чьей-то отмашки, чьего-то сигнала ждал – и вот дождался.

«Погоди, вот я завтра приеду за печатями – и покажу!»

Это было как солнечный луч в глаза или как волна, на которой меня подбросило. Воображение, воображение, воображение, прокричала я внутрь себя, как ребенок кричит из себя навстречу будущему. Мы были в чьих-то надежных руках, я, Васильев и Леша – новый триумvirат, – объятые круговым сиянием, вдоль которого мы летели то ли по вертикали вверх, то ли по горизонтали вперед.

*

«Леша, ты только не волнуйся, – сказала мама таким голосом, что впору было от ужаса утопить телефон нарочно. – Аня в Москве».

«Я знаю», – сказал я с облегчением.

«Она взяла с меня слово не говорить... Погоди. Как *знаешь?*...»

Год назад жена написала мне по электронной почте, впервые после их с Аней отъезда. Первой фразой ругала за то, что я удалил свои профили в мессенджерах, так что ей пришлось поднимать наши старые общие знакомства и визнавать мою электронную почту – живя вместе, мы друг другу писем не писали. А дальше жена сообщала, что моя дочь решила учиться в Москве и уже месяц как студентка факультета гуманитарных технологий (что бы это ни значило, добавил я про себя) одного из престижнейших *национальных исследовательских университетов* – жена привела невыговариваемую аббревиатуру со всеми регалиями, – причем поступила на бюджет. И под конец объясняла, что пишет мне об этом для того, чтобы я мог Аней гордиться, и что отвечать на письмо необязательно. Я ответил: “Спасибо!”, закрыл почту, посмотрел месторасположение нужного филиала, оделся и поехал туда, рассчитав, что к тому

времени, когда доберусь, до конца занятий останется час-полтора. Вечер был не по-октябрьски теплый, в самый раз, чтобы поболтаться на улице.

Когда я наконец встал недалеко от входа, из дверей как раз выскочило несколько самых вольнолюбивых или дальше всего живущих студентов, но прошло едва ли не полчаса, прежде чем я увидел Аню. Я не видел ее шесть лет – Латвия плюс два года между разводом и отъездом – и боялся не узнать, а узнал мгновенно. Она вышла в компании еще одной девушки и парня, они разговаривали наперебой, Аня очень эмоционально жестикулировала, потом засмеялась. У нее была какая-то собственная, ни от меня, ни от жены не передававшаяся манера смеяться. Они прошли мимо меня на расстоянии метра в три, перешли улицу и спустились в метро.

На следующий день я подъехал к филиалу на час позже и ездил так до субботы, потом еле дождался понедельника, стоял, ждал, смотрел, как Аня – всегда с той девушкой, наверное, лучшей подругой, и обычно с кем-нибудь третьим – выходит, переходит улицу и спускается в метро. В один из дней Аня засекла меня. Она не остановилась, продолжала идти, повернув ко мне голову и не отвечая на «Ты чего?», «Что там?» и «Все в порядке?» своих спутников. На ее лице было написано то, что бывает написано на лице учительницы или воспитательницы, которая застала своего подопечного за какой-нибудь шкодой, то есть очень молодой учительницы или воспитательницы без чувства юмора. Нечто среднее между вопросом и гневом, но гневом слегка тупым. Она будто и возмущалась, как я посмел, и одновременно не удивлялась, давая понять, что лишь на пакости я и способен. Так Аня и шла до перехода, неотрывно сообщая мне выражением лица все, что полагается, и я даже испугался, как она будет переходить дорогу не глядя вперед, но тут Аня, словно услышав, отвернулась и уже не поворачивала головы.

До меня не сразу дошло, что я улыбаюсь. Моя дочь говорила мне без слов, что меня не должно здесь быть, не должно быть там, где она, не должно быть вообще, а я улыбался ей.

На другой день Аня сразу нашла меня холодным косым взглядом, как бы зафиксировала, даже не отрываясь от разговора с ребятами, а на третий даже не посмотрела туда, где я стоял. В следующий раз я встал по другую сторону от дверей, рассчитывая, что Аня засечет меня ненароком, но Аня и ненароком на меня не взглянула, словно от меня исходил ультразвуковой сигнал, а у нее был датчик.

Больше я к филиалу не ездил.

Безденежье – это, в конце концов, не страшно. Рухнувшие проекты, рухнувший брак – в общем, тоже. Насчет болезней утверждать поостерегусь, потому что Бог как-то до сих пор проносил их мимо. Не страшно в один очередной день рождения заявить себе как на духу, что ничего не дал и уже не дашь миру. Единственное, что страшно, – это когда тот, кого ты любишь, хочет, чтобы тебя не было. А раз так, то, по большому счету, не страшно уже ничего. Ничего. Ничего.

5. Великий сердцеведец

Леша взял меня за руку:

«Идем во двор. Воображение лучше работает на свежем воздухе».

Едва мы вышли за дверь, я спросила:

«Это так заметно?»

Леша замотал головой, рассыпая космы.

«Ничуть! Дело в том, что Лабубу – великий сердцеведец, а у нас с ним друг от друга нет секретов».

«Надеюсь, он не сказал, что здесь застряла большая стрела Купидона?»

«Ну что ты, это же *мой* гений, и он менее деликатен, чем я!»

На лестнице Леша, который спускался первым, обернулся.

«Между прочим, у него живот».

«У Лабубу?»

«У Васильева».

«Господи, и только? Его это не портит. Помнишь, ты как-то сказал, что после пятидесяти без очков читают только гении вроде сэра Исаака Ньютона? Так вот, после пятидесяти живота нет только у гениев вроде сэра Алексея Клобукова».

«Потому что сей сэр кормится с мышиных податей».

«Что?..»

«А, ерунда».

Во дворе брат уселся на землю под деревом, как на пол у моей кровати, и потянулся к моей сумке. Я отдала ее безропотно. Леша порывлся там и вынул книгу, заложенную квитанцией из клиники; книгу он положил себе на колени, а квитанцию вытащил, расправил, перевернул чистой оборотной стороной вверх – теперь у него были планшет и лист. Из кармана брюк, противоположного тому, где сидел Лабубу, Леша извлек шариковую ручку, белую с красной надписью вдоль корпуса.

«По статистике, примерно сорок процентов пациенток влюбляются во врачей, а в хирургов чуть ли не каждая вторая», – сказала я, чувствуя себя свободной и голой, словно сбросила панцирь.

«Во-первых, сядь», – сказал Леша как «взрослый».

Я все так же безропотно села рядом на корень.

«А сколько врачей влюбляется в пациенток – такой статистикой ты не располагаешь?»

«Он меня никогда не полюбит».

«Рано нос повесила! Главное – нейтрализовать Могутину, но тут дело мастера боится, а мастер у тебя высшей категории, в общем, положишь на меня, и мы этого бобра добудем!»

«Какого бобра... Ох ты и трещотка...»

«Ты сейчас на стадии нигредо – все черным-черно, как за окном у батьки Махно, ночь души, мрак, Сатурн, свинцовая тяжесть, и тут – вау, что это, что за белые кристаллы?!.. Соль мудрости! Нежная Луна разгоняет тьму глубин сердечных, о Боже, как все ясно и просто, можно ли было отчаиваться! А за альбедо у нас что? Рубедо! Король, лучезарный, как солнце, сверкающий, как карбункул, и его ослепительно-чистая невеста заключают друг друга в объятия – священный брак, химическая свадьба! И рождается философский сын...»

Так же быстро, как говорил, Леша рисовал – рисовал брат всегда отлично, и родители думали, что он выберет хирургию, потому что для хирурга, как и для художника, важна точность движений и хороший глазомер, – нагую коронованную пару, обнявшуюся в реторте. У женщины на частично безволосой голове был зеленый шрам, у мужчины на шее – золотая цепочка.

«Уж сразу и философский?»

«Философский сын, милая моя, – это то же, что философский камень».

«Значит, у нас с Васильевым родится камень».

«Не придирайся к словам, а лучше думай о том, что он – Солнце, а ты – Луна, он Король, а ты Королева, и вы должны соединиться!»

Леша сложил лист вчетверо и отдал мне заодно с сумкой, и я убрала его к другому такому же сложенному листу, но уже немного обветшалому и в клетку.

«И это». – Леша, держа вертикально, протянул мне ручку.

Я взяла ее, прочитала надпись: ...нейрохирургический конгресс – и, прежде чем спрятать туда же, к заветным листкам, покатала в пальцах.

*

Он замедлил шаг, развернулся, но я не спешила верить.

Его улыбающиеся глаза и губы уже говорили, и я понимала, что они говорят со мной, но из благодарности не спешила верить.

«Я смотрю, вы тоже оценили наш седьмой этаж. Мы с вами там регулярно пересекаемся. Вы все время с книгой... Что читаете?»

Я будто снова была в его кабинете, а не в этом незрячем коридоре, и снова была наша первая встреча, и я снова, впервые, видела, что он Солнце.

«Одного советско-французского историка науки, “Этюды о Галилее”».

«Вот прямо о Галилео Галилее? Целую книжку написал? Значит, получается, сидел в архивах, штудировал материалы...»

Чудеса: он говорил так, как мог бы говорить Леша.

«Вероятно».

«А вы знаете, между прочим, что Галилей завершил начатое Коперником и Бруно?»

«И начал продолженное затем Лейбницем и Ньютоном», – ответила я как по шпаргалке.

«Исаком Исаковичем. – Наверное, в моем взгляде проступил заложенный эффект. – Отца Ньютона тоже звали Исаак».

Я собиралась сказать, что это имя вообще было популярно в Европе XVII века: Исаак Бекман, Исаак Барроу, но спазм снова опередил.

Исак Исакович. Совсем по-Лешиному.

«Да... – Васильев, все еще улыбаясь, склонил голову набок и почесал бровь большим пальцем. – Приятно иногда поболтать о книжках, а то бегаешь вечно какой-то шепутной. Ну, Лехе привет!»

Он поднял руку в знак временного прощания и пошагал дальше, и впрямь почти переходя на бег.

Он видел меня. Видел все это время, потому что для величайшей силы не существует времени, она работает вперед и назад.

Я знала, что голова у меня трясется и все тело дрожит. Но так и должно быть, когда стоишь в облаке разрядов и ледяные молнии одна за другой пронзают, прокалывают, прокалывают тебя. И ты узнаешь их, приветствуешь и прославляешь. Воображение, воображение, воображение!

*

Когда мы говорим «я разбит», не принято уточнять, чем именно, а между тем разбить может только что-то. Я был разбит Черновицким, Настей, поездкой на BMW, пинг-понгом, затылком того человека и его злыми от страха глазами. Осколки, на которые я был разбит, надлежало если не собрать, то хоть сгрести в кучу. И я знал лишь одного на весь мир человека, который не разбивает никого и ничто, а сгребает разбитое.

Странно, но Васильев теперь будто связывал нас с Лаурой там, где мы прежде не были связаны. Я люблю Лауру с той минуты, как увидел ее на руках у мамы, и допускаю – с утверждениями о других осторожность никогда не лишнее, – что она меня тоже любит, пусть меньше или по-своему.

В детстве сестра всего боялась: ночи, воды, когда ее льют на голову, громких звуков, высоких деревьев и домов, собак, птиц, незнакомых мест, незнакомых взрослых и даже незнакомых детей. Детей, пожалуй, особенно, причем бояться начала еще раньше, чем те – передразнивать ее заикание. Тогда Лаура пряталась за меня или за крестную, и глаза у нее начинали дрожать, да, не все тело, а только глаза, точно две огромные дождевые капли на листике. Что касается крестной, то она вообще была хороша лишь по части наставления в Слове Божьем и выгулять-покормить, а так совсем не имела подхода к детям. Сестра боялась даже мяча, который надо ловить, – ей казалось, что мяч ударит ее, она садилась на корточки и закрывалась руками. Родители и я сам почти одновременно

заметили, что никому, кроме меня, не удастся поднять Лауре настроение или прогнать ее страх. Так это стало моей исключительно приятной обязанностью. Я читал ей, разыгрывал для нее представления с перчаточными куклами – Петухом, Котом и Волком, и это трио у меня всегда жило дружно, как в Раю. Это было благодарное дело: на моих глазах маленький испуганный дух обретал плоть обычного здорового ребенка. Повзрослев, Лаура боялась сделать что-то неправильно, поэтому просила меня проверять ее домашние задания, а еще страшно боялась кого-нибудь обидеть или рассердить, так что все подруги крутили ею как хотели. Насколько я знаю, она никогда не спорила с учителями в школе и с преподавателями в своей Гнесинке.

По характеру мы с ней абсолютно разные, Лаура замкнутая в отца, и не мне, а ей с ее скепсисом и осмотрительностью стать бы медиком. Она не нуждается в других людях – так я всегда считал, а я нуждаюсь, хотя от этих самых других людей всю дорогу слышал, что, дескать, живу в мире своих идей. Нет, дорогие мои, я живу в нашем мире наших идей, он такой же ваш, как и мой. Так вот, я *привык считать* Лауру только делающей вид, что она тут, с нами. Но появился Васильев, появился этот изумрудный шрам, хотя, Боже правый, при чем здесь шрам?

Я позвонил Лауре и пригласил погулять, и вот мы уже «гуляли», стоя друг против друга у выхода из метро, в ожидании, когда я вымолвлю нечто и, развязавшись, сделаю хотя бы шаг.

Лаура тронула меня за рукав рубашки, а я и не предполагал, что за рукав можно тронуть с такой горькой нежностью.

«Пойдем», – сказала Лаура, как если бы тронула снова.

И мы пошли, сначала моими инвалидными шажками, потом ее горьким и нежным шагом. У главного входа в парк я преградил ей путь.

«То, что я скажу, может показаться невероятным».

«Для меня сейчас нет ничего невероятного».

Я помолчал, впитывая без осмысления ее невероятные слова и прилаживаясь как-то говорить после них.

«Я нахожу болезнь. – Заговоривший был косноязычным дебилом, но Лаурин взгляд уверял, что дебила вижу я один. – Я каким-то *невероятным* образом чувствую скопление патогенных клеток, очаг воспалительного процесса или повышенной активности нейронов – короче, штаб-квартиру болезни, место ее дислокации, точку...»

«Я тебя поняла», – сказала Лаура таким тоном и глядя на меня так, словно отчаянно ждет продолжения.

С нею, с нами обоими что-то творилось последнее время, и я знал, что это творение ненадолго, что однажды оно завершится, но пока предстоит кипеть, волноваться, бояться, любить. Лаура взяла меня под руку и повела с прохода в парк.

«Но какой в этом смысл, вот о чем я Бога бы спросил! Какой смысл находить, если не можешь исправить? Васильев говорит... – Я осекся, но по лицу сестры, как говорится, ни единая тень не пробежала. – ...Говорит, что мой так называемый “дар” надо пустить в дело, а Черновицкий, тот вообще уже набросал комбинацию. С точки зрения Черновицкого, прок от меня будет колоссальный, тут и думать нечего. С точки зрения Васильева... – Я замялся, потому что точка зрения Васильева все еще как-то тускло мигала для меня, сознавая, что, чем дольше мнусь, тем мучительнее Лауре. – С его точки зрения... как бы сказать... мой “дар” – только признак какого-то еще большего дара, то есть я могу зарыть талант в землю... О Господи! Дар! Талант! Живи я во времена Парацельса, вот был бы всем дарам дар и всем талантам талант, но сегодня, когда и УЗИ, и МРТ, и ПЭТ... Не понимаю!.. С точки зрения *Бога*... Зачем?!»

«По-моему, Бог высказал Свою точку зрения. Леша, это чудо. Другие мечтают, чтобы в их жизнь вошло чудо, а ты спрашиваешь: “Зачем?”».

«Бессмысленное чудо – просто аттракцион. Или лохотрон. Знаешь, в чем причина моего чудесного исцеления от припадков? Ты, конечно, в курсе этой истории, мама или

крестная рассказывали?.. Так вот, не было никакого чуда – ни от упражнений, ни от молитвы. Возрастзависимая доброкачественная эпилепсия всегда проходит сама. Цитата Васильева».

«А без него ты не знал?»

Наверное, я вытаращился, потому что сестра закатила глаза, сразу перестав быть и нежной, и *невероятной* – к некоторому моему облегчению.

«Господи, Леша, мама как-никак педиатр! Детские формы эпилепсии часто встречаются – это, если хочешь, *ее* цитата. Разумеется, твои приступы их с папой очень тревожили, потому что никогда нельзя быть на сто процентов уверенным, что это именно детская форма...»

«Но тебя называли...»

«Меня назвали в честь крестной не потому, что родители считали, будто без ее упражнений ты бы не поправился, – просто мама была очень привязана к ней из-за ее привязанности к папе, к нам. Крестная была одинокий человек, а папа и мама стали для нее как дети, мы – как внуки. Мама это ценила, жалела ее...»

«Она сама тебе сказала?»

«Сама. Мама тебя любит больше, но со мной вынуждена разговаривать чаще».

«Крестная обожала тебя», – ляпнул я как под диктовку, понимая, что ляпаю.

Лаура выдохнула, видимо, чтобы справиться с раздражением. Пожалуй, ей слишком часто приходилось справляться с ним за свой счет, во всяком случае, я был бы не против, наори она на меня как-нибудь.

«Я прочитала Юнга о “священном браке”. – Лаура смотрела в сторону, и таким взглядом, с каким, наверное, люди, ждущие очереди у кабинета онколога, говорят близким, что с ними. – Почему ты не сказал, что Король и Королева, соединившись, погибают?»

«Видишь ли, существует знание, открытое лишь истинным адептам».

Лаура выдохнула опять, вполне мне поделом, учитывая, что к «истинным адептам» я причисляю и Черновицкого, о чем ей известно. А надо ли, вдруг подумал я, непременно завязывать узлом шутку и серьез, как делал я до сих пор?

«Если серьезно, то ты уже сама себя ответила. Потому и не сказал, что это слишком легко понять превратно. Любое соединение двоих в одно означает смерть. И новое рождение».

«Пока я люблю, я не умру», – сказала Лаура как могла бы, наверное, сказать Настя.

*

С ним на этот раз были аж четверо – или он был одним из пятерых; наверное, они что-то праздновали, потому что галдели, смеялись, сдвинув два столика и прихватив еще пару стульев.

«Вы позволите?»

Девушка-врач, да, именно девушка, вряд ли ей было больше тридцати, замерла возле моего столика с кофе в одной руке и лотком в другой.

«Конечно. Садитесь, пожалуйста».

«Спасибо. – Она начала было есть, но, как видно, была чересчур хорошо воспитана. – Я вас тут часто вижу», – сказала она и запнулась, наверное, вспомнив, что наш маленький рай вознесен над шестью этажами болезней.

Я смогла только вежливо улыбнуться, но книгу отложила – беседуем мы или нет, все же теперь нас двое.

«Кофе здесь очень приличный». – Ей, очевидно, показалось, что меня сейчас нельзя «бросать», а может, моя закрытая книга терзала ее воспитанность.

Теперь уже моя воспитанность получила вызов.

«Ну должен же он соответствовать...» – сказала я, сама не зная, соответствия чему требую от кофе – ценам или шести этажам под нами.

Она добросовестно засмеялась и продолжила есть, отчасти за меня спокойная.

«Пожалуй, тоже возьму кофе», – сказала я, чтобы еще больше успокоить ее, и вставая, чтобы дать роздых себе.

«Простите... – Она пытливо прищурилась, сразу напомнив мне его, и что он здесь, и до какой степени он здесь, в каком-то метре, и до какой степени одного из нас, его или меня, здесь нет. – Я понимаю, мы тут уже не врачи и пациенты, но... Скажите, вы когда-нибудь теряли голос?»

Я все еще проживала меру, в какой мы с ним оба здесь и в какой одного из нас здесь нет, эту чудовищную возможность присутствовать и отсутствовать, это мерцание «близко» и «далеко», эту бесчеловечную человеческую разницу пространственно-временных континуумов, поэтому, наверное, меня прорвало.

«Теряла ли я голос? Я его *потеряла*. Я... пела. – Поняла ли она смысл – “была певицей”? Выговорить это я была уже не вправе, разве что экивоком. – Пела профессионально. А потом ковид...»

«Так. Все. – Она хлопнула ладонями по столу и вскочила. – У меня как раз минут десять до конца перерыва – идемте!»

«Куда?»

«Ко мне. А, верно, извините! – Она хохотнула. – Я фониатр. Идемте, я дам вам упражнения. – Мне показалось, она сейчас схватит меня за руку и потянет, но нет, только обернулась через плечо на ходу, и чуть бережнее или чуть по-девичьи: – Голос можно вернуть. – И еще раз, словно и себе внушая. – Голос можно вернуть».

Я еще ни разу не ушла из кафетерия раньше него. Я медленно поднялась со стула, глядя по направлению спутанного хора пяти голосов, в котором солировал его голос. Девушка-фониатр остановилась и ждала, глядя на меня так, будто понимает, почему я медлю.

*

Лаурино выступление в защиту самоценного «чуда» было все-таки хлипковатым доводом, таким же хлипковатым, как филантропия Черновицкого. И все же Лаура сгребла меня в кучу, просто потому, что она – это она. Теперь я мог приступить к складыванию мозаики, до конца не уверенный, найдется ли в ней место и благородному разбойнику Черновицкому, и охламону-бессребреннику Клобукову. Надо было еще потолковать с Васильевым. По телефону он был недоступен, а я боялся растерять кураж и поехал в клинику.

Я был еще на другом конце коридора, но администратор уже высмотрела меня и крикнула, словно отпугивая:

«Роман Валентинович в отпуске! Будет только 23-го!»

Раздосадованный, я пошел в отделение онкологии. Я надеялся либо застать там Настю и услышать от нее, что стадия ранняя и прогноз благоприятный, либо не застать и самому сделать вывод о том, что мои пальцы напали на какое-нибудь временное повышение СОЭ после гриппа. Я помнил, что Настина точка блуждающая и неопределенная, а скорее всего вообще не точка. Лейкемия?.. Если я решу в пользу «комбинации», придется вспомнить все эти ученые сто лет назад слова, а с ними то, о чем тебе не сказали на лекции, но такое же непреложное, как белый халат: обтекаемые выражения и взнузданный оптимизм, немая паника и слезы.

Настя не было. Очереди ждали все трое, и, хотя я дважды прогулялся мимо них, пальцы оставались спокойны. Вот и славно, значит у всех ложная тревога. Из кабинета вышла женщина, примерно Лауриных лет и такая же заморенная, но у Лауры кожа все-таки естественного цвета, а у этой была как слоновая кость. Не успев отойти от кабинета

на полшага, она достала телефон. Я тихо двинулся за ней. «...Сказал, неоперабельная, будут облучать». Где мои пальцы, будь они неладны? Навстречу шел мужик, который позавчера стоял здесь прислонившись к стене и у которого явственно взывала к моим пальцам почка. Мы поравнялись – ноль, штиль, но не мог, не мог он за сутки вылечиться!..

И тут меня словно тронули чем-то холодным, но это было не *то самое* в новом изводе, а всего лишь озарение. Мои пальцы ничего не улавливали, потому что на расстоянии нескольких метров не было Ромы Васильева из магнитного города.

*

«Почему вы не обратились к фониатру еще три года назад?» – спросила меня девушка-врач и не могла обескуражить больше.

Действительно, почему? Потому ли, что даже судьбе я стараюсь не возражать?

Раз в неделю я ходила к Екатерине Константиновне – так звали фониатра – и каждый день выполняла упражнения дома, по три часа с перерывами. Через две недели я смогла взять верхнее до.

Екатерина Константиновна не стала скрывать, что полностью голос уже не вернется. Возобновить певческую карьеру не получится, но меня к этому и не тянуло. Возможно, после года упражнений я снова смогу давать частные или нет уроки вокала, но уже сейчас стоит поискать вакансию музыкального педагога в общеобразовательной школе.

*

Не то чтобы я не ждал писем – скорее я от них ничего не ждал. В основном мне приходил спам, да еще некоторые из моих ныне малочисленных знакомых, берегущих голосовые связки, не пробившись ко мне через мессенджеры, изредка писали на почту.

Я еще был немного сам не свой после того акта непостижимого Божьего милосердия, которому час назад подвергся. Ни Черновицкий никогда не узнает «секрета», ни сам Васильев. Наша с ним «магнитная аномалия» останется без объяснения и последствий. Наша соединенность отныне моя проблема, мое сомнительное достояние, еще одно даровое наследство, на которое я наложил печать – спасибо Караеву – и убрал подальше, до поры или до конца. Я не приговорен, я могу выбирать, и я выбираю свободу.

Освобождение еще вызывало легкий стыд и озноб, и я едва ли не заклеил «спамом» послание неизвестного адресата, но заголовок «книга» успел сделать свое дело.

«Уважаемый Алексей Алексеевич!

Вряд ли Вы меня помните. Мы встречались в 2018 году на вечере в посольстве Австрии, посвященном 525-летию со дня рождения Парацельса».

«Посвященном». Мною посвященном, устроенном и проведенном. Заручившись поддержкой Зальцбургского Общества Парацельса, я написал австрийскому атташе по культуре с предложением приурочить к 525-летней годовщине великого врача мероприятие, устройство которого я полностью беру на себя, согласовав, разумеется, все организационные частности. Мне дали зеленый свет, и я не подкачал – да и мог ли? Вечер открыл атташе, нагородивший милых банальностей, его никто не слушал, но все сразу расслабились, а может, только я, потому что и на нервах был только я. Небольшой актовый зал посольства заполнился на две трети. Пришли не только нью-эйджисты, гомеопаты и просто ударенные пыльным мешком, но и несколько историков науки, которым я по договоренности предоставил слово. Пришел Андрей Николаевич и прочитал отрывок из своей поэмы, в котором речь шла о Парацельсе, а сама поэма была, насколько я понял, очень длинная и про всех тех от начала времен до наших дней, кому стало ясно главное. Лаура исполнила под рояль, за которым сидел молодой австриец, как показалось

мне, с большой стрелой Купидона, указующей его вполне определенный вектор, три народные песни: немецкую, австрийскую и швейцарскую, по землям Парацельсовой славы, – но это больше для атташе.

«Я подошел к Вам по окончании поделиться некоторыми мыслями...»

Да, по окончании ко мне подходили. Благодарили, досказывали и высказывали накопившееся за 525 лет. Я выполз из посольства еле живой. Это был триумф. И заря, как я был уверен, – заря новой эры.

«...которые без Вашей вступительной речи, скорее всего, не сформулировал бы даже для себя».

После атташе взял слово я и говорил, пожалуй, по всем регламентам долговато, впихнув во «вступительную речь» и то, что не касалось уже непосредственно Парацельса, но чему представился слишком соблазнительный шанс. Все, что я тогда наспех упаковал в этот шанс, потом казалось мне сумбурным, непродуманным, хотя, положа руку на сердце, продумал ли толком до сих пор те тезисы, положения, краеугольные камни – те «пролегомены», которые всегда как-то зыбились, то сгущаясь, то испаряясь, а по сути были не здесь, никогда, ничем.

«То, что Вы тогда сказали, и собственно сама идея метафизиологии...»

Я с трудом верил своим глазам, читающим это мною рожденное и никому больше на свете не нужное незаконное буквенное дитя в чужом письме.

«...отозвалось во мне глубоким пониманием – ведь я всю свою жизнь, со студенческой скамьи, размышлял о том же самом и пришел, вернее, так и не пришел бы, если бы не Вы, к тем же самым выводам. В итоге у нас состоялся хоть и короткий, но очень хороший, очень приятный и полезный для меня разговор, теплую память о котором я храню до сих пор».

Интересно, сколько лет пишущему? По слогу – около ста.

«На прощание Вы дали визитную карточку Вашего издательства».

О да, я их тогда раздавал направо и налево – сколько денег было ухнуто только на допечатку этих карточек.

«И вот наконец я закончил книгу, которая, как смею надеяться, может Ваше издательство заинтересовать. Ни в коем случае не оспаривая Ваш приоритет, я позволил себе немного видоизменить Ваше определение и назвал ее “Метафизические основания медицины”. Посылаю Вам на рассмотрение...»

Боже мой, за что.

«...плод своих трудов. Если он покажется Вам слишком громоздким по объему...»

Вся моя жизнь – «со студенческой скамьи» – была слишком громоздкой по объему, и то, что валилось на меня из этого письма, уже не лезло в нее.

«...его можно сократить на Ваше усмотрение».

Боже мой, почему. Боже, пожалуйста, не надо больше бессмысленных, застрявших по дороге, на пять-семь лет просроченных чудес.

«Заранее простите, если окажется, что напрасно отнял Ваше время. Буду благодарен за любой ответ.

С уважением,
искренне Ваш В. Н. Будберг».

*

Я ждала у магазина японских ножей.

Врачи и медсестры поднимались по ступенькам, вертящаяся дверь проворачивалась и впускала их поодиночке и по двое. При этой клинике – той, что с турникетом, – не было подземной парковки. Кто-то парковался у обочины, кто-то, видимо, за квартал отсюда и шел пешком, если, конечно, не приезжал на метро или автобусе. А один долговязый бородач – на велосипеде, всегда последним. Вот он

спешился, втиснул велосипед меж стальных колец, взбежал по ступенькам, и еще одного впустила вертящаяся дверь.

Я не выдержала, перешла улицу, поднялась по ступенькам, толкнула вертящуюся дверь и направилась к стойке регистрации.

«Скажите, пожалуйста, Васильев Роман Валентинович сегодня ведет прием?»

«Доктор в отпуске, запись к нему открывается 22-го числа»,

Вот, значит, почему он на прошлой неделе не появился в кафетерии.

«Я не по записи. Скажите, а когда он будет?»

«А вам зачем? Мы не даем такой информации, извините, просто так. Ближайшая дата для записи – 22-е...»

Я вышла на улицу в одновременно туманной и проясненной пустоте и полпути до метро чувствовала себя немного обманутой, а затем – немного свободной.

*

Будбергу было не около ста, а всего лишь около девяноста. Он был сильно согнут и достигал мне примерно до пояса. Опрятно одетый (на чем, интересно, он гладит рубашки и брюки и как вообще поднимает утюг?), перламутрово-бледный и без пятен на коже, какие часто бывают у глубоких стариков, но главное, его редкие волосы почти не поседели. Мы стояли в однокомнатной квартире на первом этаже. Было полутемно от оконной решетки и штабелей на подоконнике – книг и папок-регистраторов с распечатками, сразу напомнивших мне офисы «нулевых». На столе под их сенью светлел компьютер, о котором, если бы такое было возможно, я сказал бы, что он древнее самого Будберга.

Будберг стоял ко мне вполоборота, у окна, и я даже не совсем понимал, чем он занят: трогал ли клавиатуру, перебирал ли распечатки, или его руки просто витали, почти не перемещаясь, возле того и другого. Говорил он еле слышно.

«Мы ведь с вами коллеги?.. Я всю жизнь проработал в поликлинике, сначала терапевтом, потом гастроэнтерологом. До выхода на пенсию совершенно не было времени сесть и хотя бы обобщить... Хотите чаю?»

Развернуться в направлении кухни ему было бы нелегко.

«Спасибо! Я сам сделаю, если позволите».

В кухонном хозяйстве Будберга я разобрался быстро. Электрический чайник стоял уже под парами и вскипел за полминуты, я кинул в кружки по пакету.

«О, что это?» – Будберг вытянул палец точно по траектории к карману моих брюк.

«А, это мой гений. У Сократа ведь был гений...»

«Гений Сократа... – Будберг засмеялся тем, что осталось от смеха, вроде крошева. – Можно мне...»

Я вложил Лабубу в его протянутые невесомые ладони, и те бережно сомкнулись створками вокруг маленького тельца.

«Какой красивый!» – Будберг поднес мордочку Лабубу чуть не вплотную к глазам.

Красота какая, вспомнил я Васильева не к месту. Мысль мелькнула, но нет, еще и своего гения я Будбергу не отдам.

«Вас это, может быть, удивит, но я считаю себя вашим учеником. Хотя... Все мы ученики... Все мы ученики...»

«Ученики в Саисе», – сказал я.

Будберг с улыбкой показал белым пальцем куда-то в угол под потолок, где бывает динамик или камера наблюдения. На платяном шкафу стоял прислоненный к стене портрет Новалиса.

«Давно хотел вас спросить... – Он посмотрел на меня прямо и ясно, как давно смотрел иной раз тоже кто-то почти от земли – маленькая Аня?.. – Вы углубленно изучали

Парацельса... Как вы считаете, он действительно верил в возможность получить эликсир бессмертия?»

Обычно Парацельс вмиг завладевает моими устами, но тут он бросил меня барахтаться. Я помыкался от Новалиса к дедушке компьютеров, обошел умоляющими глазами всю комнату, но так и остался без поддержки.

«Парацельс... – решил я наудачу. – Парацельс... я думаю, он... не искал эликсир бессмертия, он считал, что после смерти человек восходит в свое внутреннее небо, сливается с ним, и это и есть бессмертие – слияние с нашим внутренним, духовным, изначальным человеком, homo maximusом, первочеловеком Адамом Кадмоном. Он внутри, и вокруг, он и меньше, и больше, он и часть, и целое, мы с ним и едины, и только *можем* соединиться. Нижнее, оно же внешнее, должно соединиться с верхним, то есть внутренним. Не совсем понятно, чем это обернется для плотского тела, исчезнет ли оно, войдет ли полностью в тело духовное?.. Парацельс разъяснений не дает, но я думаю, при слиянии двух тел возникнет третье, не плотское и не духовное, а нечто вообще иное, настолько иное и не представимое, что тут Парацельс умолкает».

Умолк и я, потрясенный.

«Мы разрешили мои сомнения! – сказал Будберг с какой-то благодарной живостью. – Алексей Алексеевич, знайте, что как бы ни сложилось в будущем...»

«Владимир Натанович, мы издадим вашу книгу». – Я хлопнул по подлокотнику кресла, насорив поролоновой тряпкой.

Возможно, Будберг усмотрел за «мы» дружную команду профи издательского дела, но я имел в виду себя и его.

*

22-го я подошла к магазину японских ножей за десять минут до конца твоего рабочего дня. Ты вышел через вертящуюся дверь, спустился по ступенькам и пошел к машине. Я перебежала улицу и остановилась позади тебя. Не знаю, как ты меня услышал, но ты обернулся.

«Вы меня ждали?»

«Андрей Николаевич попросил передать вам это на память. – Я протянула тебе лист из блокнота. – Это каббалистическое Древо Сефирот, диаграмма божественных эманаций, в общем, схема духовной Вселенной. Тут все подписано, а на обороте – пояснение».

«Передайте ему от меня огромное спасибо! Ух ты, какое... Если я чего-то не пойму, найду в интернете. Простите, спешу. Всего вам доброго!»

Ты махнул мне сложенным вчетверо листком, сел в машину, и я смотрела, как она отрывается от тротуара, дает задний ход и затем едет прочь от клиники. И вдруг я побежала. Ты не мог меня видеть в зеркальце, потому что я бежала не вслед машине, а вместе с ней, параллельно движению, огибая пешеходов. Я впервые так бежала с тех пор, как переболела ковидом.

...Я впервые проснулась наполненная и окутанная таким теплом. Я подтянула ноги к груди и заплакала, радуясь и теплу, и слезам, и тебе... ему... и своей любви, и себе, в конечном счете.

*

«Дорогой Алексей Алексеевич!

Большое спасибо Вам за нашу сегодняшнюю встречу.

Ваш В. Н. Б–Г».

Я аж фыркнул. Ну надо же так подписаться – сразу видно, не православный.

«Ты-то больно православный: когда перекрестился последний раз?» – сказала мне Алиса, хотя какая еще Алиса – сказал мне не знаю кто.

*

Васильев вышел из операционной. Мне показалось, будто бросаюсь ему наперерез, и при этом я понимала, что не превышаю среднюю скорость озабоченного пациента. Васильев притормозил; что выражало его лицо, я не видела, потому что уже говорила: Роман Валентинович, простите, пожалуйста, я отниму у вас всего минуту, видите ли, я ищу работу, не могли бы, если вам это не доставит хлопот, узнать через дочь, нет ли в ее школе вакансии преподавателя музыки, я была бы вам бесконечно признательна. Да, я уже говорила – и за мгновение услышала всю тираду, но Васильев не услышал ни звука.

Я открыла рот. Несколько секунд я боролась с окоченевшими мышцами гортани. И несколько секунд мои глаза стояли перед его глазами будто поставленные к стене.

«Слушайте... – Васильев прижал руку к груди, там, где под рубой, на золотой цепочке, должен был висеть крест. – Я терпел сколько мог ради Лехи, честно, но ведь вся клиника ржет. – Он сделал паузу и сощурился: – Езжайте себе тихонечко домой, а?»

Я еще стояла и слышала за спиной его шаги, все дальше, дальше по коридору, его энергично-легкую походку, любимую, страшно и как никогда любимую, я еще стояла, стояла, стояла, но ничего уже не было, и я стояла нигде.

...«Вся клиника ржет». Я прошла мимо стойки администратора с виниловыми волосами, не поворачивая голову ни на градус вбок.

«Вся клиника ржет». Спускаясь по лестнице, я вставала на каждую ступеньку обеими ногами, но в клинике это, наверное, никого не удивляло.

Меня видели все. А я видела всегда только его. Только он существовал, и я не знала, что теперь существует.

...Я расстелила постель, разделась, надела ночную рубашку, легла и укрылась по горло одеялом. Маму, я помнила, Леша вытащил в зоопарк, и они вернутся к обеду... а когда обед?.. который сейчас час? Но когда спишь, время течет по-другому.

Я увидела его глаза. Улыбающиеся глаза. В последний раз. И всегда.

...Кто-то тряс меня, это был Леша. За ним на краешке стула с моей одеждой в полуобмороке приткнулась мама.

«Что ты приняла?! Мы тебя еле добудились!»

«Ничего. Мне просто очень хотелось спать, и я заснула. Можно я еще посплю?..»

...Они сидели напротив кровати, теперь Леша на стуле с моей одеждой, а мама в кресле из своей комнаты – наверное, Леша его притащил. Оба читали мои детские книжки: брат Гауфа, мама Драгунского.

...«Ну все, ну все, хватит спать, ты уже почти сутки спишь, дольше уже вредно, это я тебе как без пяти минут врач говорю...»

Я потянулась. Леша приподнял меня под спину и протащил подушку вверх, так что она встала вертикально. Вместе со мной на нее оперся Лабубу.

«Мама ужин готовит, сейчас поедим... Так как – поесть?..»

«Можно», – сказала я, пробуя голос.

Леша кивнул, подался назад и лег поперек кровати у меня в ногах, вернее, положить удалось только туловище, ноги продолжали стоять на полу. Макушкой брат упирался в стену и все же как-то сумел закинуть одну руку за голову. Когда ему было восемнадцать-двадцать, я часто видела Лешу лежащим по вечерам на его тахте – рука за головой, раскрытая книжка еле заметно поднимается и опускается вместе с грудью, от задумчивости лицо немного сердитое. Я ждала, не сомневаясь, что первым словом, которое прозвучит, будет «Парацельс».

«Вчера было первое занятие на курсах переподготовки для врачей, – произнес Леша в потолок. – Думаю устроиться терапевтом в районную – у них не хватает кадров, я узнавал».

«Это будет самая нервная работа в твоей жизни».

Леша усмехнулся одновременно и виновато, и кисло.

«Мама тоже не верит, что я осилю».

«Я не то...»

«Да нет, чего уж там. Я и сам в себя не шибко верю. С другой стороны, достаточно я нервы берег. – Леша говорил с непривычной раздельностью, и для него она казалась медлительностью. – Мама говорит: зачем тебе, ты же философ! А я ей: мамуль, я неудачник. А она мне: одно другому не мешает!»

Леша засмеялся, и я за ним, но вдруг он оборвал смех и посмотрел на меня с выражением, которое, если бы не голубизна глаз, я назвала бы канонически собачьим.

«Это все я. Моя вина. Понимаешь, я-то думал тебя отвлечь, развлечь, а оказалось, что...»

«Перестань. Король и Королева так и так погибнут, соединившись, но иначе им не родить философского сына».

«Я серьезно!»

«А философский сын – это, по-твоему, несерьезно?»

«Опять вы про эти страсти?» – Мама заглянула в комнату.

«Страсти, страдания, а в конечном счете – слишком много пафоса! – Леша вскочил, несколько раз хлопнул в ладоши, а потом еще прицелкнул пальцами. – Why can't I be good, why can't I act like a man? Why can't I be good and do what other men can? – Леша чуть раскачивался, поворачивался в одну-другую сторону, двигал плечами и руками, ритмично топтался на месте, словом, танцевал. –

I don't want to be weak
I want to be strong
Not a fat happy weakling
With two useless arms
A mouth that keeps moving
With nothing to say
An eternal baby
Who never moved away!²

Почему я не могу быть хорошим?! Почему не могу пахать в трех местах? Почему не могу отправить мать и сестру в Дубай?»

«Не нужны мне никакие дубай, ты же знаешь», – сказала мама.

² Песня Лу Рида «Почему я не могу быть хорошим?»

Почему я не могу быть хорошим?
Почему я не могу вести себя как мужчина?
Почему я не могу быть хорошим?
И делать то, что могут другие мужчины?
<...>
Я не хочу быть слабым.
Я хочу быть сильным.
Не жирным счастливым слабаком
С двумя бесполезными руками.
Ртом, который продолжает двигаться,
Но ничего не говорит.
Вечным ребенком,
Который никогда не сдвинется с места.

Ни капельки не жирный, Леша двигался смешно и грациозно, так что казалось, для смешного он старается, а грациозно выходит само собой. Мама смотрела на него с обожанием. Мы обе, должны быть, смотрели на него с обожанием.

*

Васильев позвонил, когда я забирал из типографии первую порцию тиража будберговой книги. Впервые я слышал смущение в его голосе, он даже как-то подхихикивал.

«Слушай, это, я понимаю, не самое в нашем возрасте, скажем так, ожидаемое, что ли, событие... В общем, звоню пригласить на свадьбу».

«На свадьбу?!»

Излишне говорить, что за картинка мне явилась – картинка, я знал, неправильная, невозможная, но и неизбежная.

«Мы с Дашей расписываемся, – уже без подхихикиванья, совсем серьезно, ответственно и весомо. – Ждем тебя в субботу. Адрес и точное время пошлю через Телеграм. Ты ведь есть в Телеграм?... Алло?»

«Да-да, – вернулся я откуда-то, куда на миг коллапсировал. – Ты больше мне ничего сказать не хочешь?»

Молчание там, тоже миг.

«А что должен?» – чуточку агрессивно.

«Должен – это немного не... Впрочем... Вот ведь беда какая: я, горемычный, ногу сломал. Самым безумным образом, расскажу как-нибудь на досуге. А гость в гипсе на свадьбе врачей – это уже совсем не смешно. Короче, вычеркивай меня».

«Поди ж ты, как обидно, – сказал Васильев, и почему-то я ему не поверил. – Ногу сломал. – Это он повторил кому-то рядом. – Ну, что уж теперь, поправляйся! Пока-пока!»

И отключил связь.

Господи, Господи, сказал я и сам не поверил, что говорю с Ним, пусть она не узнает, пусть не узнает, ну, разве что через год, а лучше лет через десять.

*

Последние две недели прошли в хлопотах вокруг презентации книги Будберга. Автора пришлось на нее уламывать, пока он, проникшись, сам не предложил Дом Лосева. На издание книги тиражом сто экземпляров и все прочее я пустил то, что наконец-то выплатил Черновицкий, плюс занял у него в счет следующей зарплаты. Это были мои первые взятые в долг деньги с тех пор, как я занимал у отца на всякие пустяки.

Со стороны Будберга присутствовали двое грибовидных бывших коллег (его жена давно умерла, дети и внуки жили за границей), с моей – мама и Лаура. Как ни упрашивал я Лауру исполнить на презентации хотя бы одну из тех трех песен, она отказалась категорически, но они с Будбергом все равно остались друг от друга в умилении. Я пригласил несколько историков науки, так словно себя зарекомендовавших в австрийском посольстве, но они не пришли. Александра Каблукова тоже не пришла, впрочем, она и вправду занятая женщина. Зато пришел Черновицкий, которого я пригласил, не рассчитывая. Мне еще было в новинку знать его как Робин Гуда, при котором я чуть не стал Маленьким Джоном и, похоже, навеки *пропал* для Леди Мэриан.

Представляя Будберга и книгу, я обратился к залу с такими словами:

«Камень... – Трое на трое, Будберг, Черновицкий и Лаура, знающие, о каком камне идет речь, против мамы и двух престарелых врачей, не знающих. – Камень, он не только в нас, он везде и повсюду, поэтому, с одной стороны, он вещь ничего не стоящая, а с другой – его надо сотворить, чтобы он был, и тогда, сотворенный, он становится вещью самой ценной. Так же и книга, которую мы сегодня приветствуем среди нас. Пока ее не

написали, изложенное в ней было настолько очевидным, что никто его не замечал. Но теперь, когда эта очевидность облечена в книгу, она стала знанием, с которой нельзя не считаться».

Затем настал черед автора. Будберг встал перед залом, раскрыл книгу и неожиданно звучно провозгласил:

«Эпиграф: “Сила воли есть главное в медицине”. Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Хохенхайм, прозванный Парацельсом. – Будберг старчески сглотнул и прочел уже тише: – Единственная подлинная задача медицины – победить смерть. Физическая невозможность не должна перекрывать здесь для нас метафизическую возможность, которая означает... – Тут он закашлялся. – ...Означает...” – и закашлялся снова.

Я хотел было взять у него книгу, чтобы продолжить с того места, где он остановился, но Будберг понял мое намерение и замотал головой. Откашлявшись, он улыбнулся и произнес своим обычным тихим голосом:

«Вот, пожалуй, и все».

Затем эстафета перешла сначала к одному, потому к другому коллеге, но переход между ними был не особо явен: и тот, и другой говорили долго, напористо, сбиваясь, как на юбилее, о том, каким прекрасным врачом был Будберг, как ценило его поликлиническое начальство, про какие-то пикники с шашлыками, на которых он читал какие-то стихи, и прочее, и прочее. Им поаплодировали, да и Будберг выглядел довольным.

Больше желающих высказаться не оказалось, и, чтобы не утомлять виновника торжества, я все быстро свернул, но, перед тем как отпустить народ, представил друг другу Будберга и Черновицкого.

«Мы, как старые алхимики...» – уже повернувшись к будберговым коллегам, услышал я последнего, годящегося первому в сыновья.

Вот, пожалуй, и все.

После того как мы с мамой и сестрой обнялись и поделили меж собой ношу «авторских», ко мне бочком, с усмешкой подступил Черновицкий.

«Ну как, созрели?»

Прочитав мой ответ во взгляде, он рассмеялся. Что мне больше всего нравится в этом человеке, так то, что с ним просто невозможно испортить отношения.

*

Однажды Даша попеняла мне, мол, пациент, которому я на второй-третий день после операции говорю, что он прекрасно выглядит, иначе как издевательство это воспринять не может. Я сказал: ошибаешься, во-первых, *они* и впрямь выглядят гораздо лучше, а если сравнивать с тем, какими ко мне приходят, то даже прямо прекрасно – исчезает эта маска страдания и страха, глаза оживают. А во-вторых, я вижу по этим самым глазам, что человек мне верит. Верит не буквально, что прекрасно выглядит, а что плохое позади и все теперь будет хорошо. Я не имею права сказать: «Все будет хорошо», потому что никогда, никогда не известно, как оно будет, а «Прекрасно выглядите!» – считай то же самое, только без гарантий. Это такой тонкий момент, который один из десяти пациентов улавливает, и тогда в глазах я вижу скорее признательность за мои слова, чем веру, но у девяти из десяти – вера безоговорочная.

Она посмотрела на меня не с верой и не с признательностью, а так, будто я ее разочаровал. Она, сестра Клобукова. Так, будто рассчитывала услышать что-то совсем другое, вообще о другом. Тогда у меня и zakралось подозрение, не мальчик все-таки.

Я виноват и не отпираюсь. С самого начала ведь знал: игнорировать, игнорировать, игнорировать – не затянешь узел, не придется потом рубить. И затянул. На этаже стали при виде нее ухмыляться, и ладно бы только эта сучка за стойкой, но даже Гришин, даже

Минакова, приличные люди, – даже Даша улыбалась снисходительно, и меня вдруг пробило: да что ж это такое, она ведь здесь ради меня, а я закрылся и не хочу защитить ее от этих ухмылок... И дал слабину – заговорил, спросил, что читает, и, пока она шептала, перепуганная, отводя глаза, понял, как же прокололся. Она ведь – сто процентов – решила, что мы теперь «общаемся», раньше она приходила и явно ничего не ждала, а после этого дурацкого разговора будет ждать... Нет, ждать она не будет, она в следующий раз сама заговорит, тут и к гадалке не ходи.

В тот день, когда к ней подседа девчонка из отоларингологии, а потом они вместе ушли, хотя она раньше ни разу не встала со стула, пока я не встану, – в тот день мы с Дашей *объявили* и как раз отмечали узким кругом, потому она, видно, и не подошла. Потом отпуск – две недели с Соней в Таиланде, последние только *наши* недели, и Соня наконец успокоилась или примирилась, и я сочинил, что скажу сестре Клобукова, когда она подойдет и заговорит, нечто такое щадящее, но твердое. И тут по прилете выясняется, что менеджер перепутала даты отпуска и у меня прямо в день выхода удаление продолженного роста олигодендроглиомы левой лобной доли с костнопластической бифронтальной рекраниотомией. Причем мужика дважды оперировали в федеральном медцентре, а при третьем рецидиве там же отказали, мол, неоперабельная. Без слов ясно: для него – последний шанс, «для клиники» и для меня – дело чести или вопрос престижа, с какой стороны посмотреть. Работали шесть часов, чудом не повредил, выделяя из ткани опухоли ветви передних мозговых артерий, но в итоге и сосудистую стенку удалось сохранить. Может, я отвык от таких вызовов, в отпуске расслабился, может, возраст дает себя знать, но вышел на дрожащих коленках, и тут она, чуть не насккивает. Я матюгнулся про себя, но тут же «включил доктора», улыбку надел, а она молчит, только смотрит с каким-то душераздирающим отчаяньем, с каким-то, прости господи, священным ужасом, и тут я понял, что она же ведь никого и ничего не видит, кроме меня. И вдруг почувствовал к ней такую ненависть, что я напрочь забыл, что там сочинил в Таиланде, и бухнул как на душу легло. Через несколько минут, уже у себя в кабинете я одумался, выскочил, вернулся, чтобы извиниться, но ее уже не было. Ничего, сказал я себе, подойду и извинюсь в кафе. Но ее не было и там, впервые за эти три месяца.

Слава Богу, Даша выходила во вторую смену, и мы с Пашей сидели только вдвоем. Он с таким недоумением озирался, что мне, не будь погано, сделалось бы смешно.

«Не вертись, она не придет».

Немногословный Паша поднял брови.

«Кинулась ко мне, только я вышел из операционной. Я и так был не в себе, как и ты, наверное... В общем, отбрил ее. Сказал, что терпел только из-за брата, что все ржут».

Пашино лицо не менялось, но я читаю его – и лицо, и всего Пашу – как открытую книгу. Молчаливых людей вообще читать гораздо проще, чем говорунов вроде меня.

«Да, сорвался, не заслужила, но нет худа без добра: теперь она знает, что, вздумай на меня заявить, ни одна собака ей не поверит. Как фамилия того парня, Костин, Костиков, – ну я тебе рассказывал?... Он у Амиряна без году неделя работал, я и запомнить толком не успел, так оперативно его вышибли после обвинения в домогательствах. А ведь клялся-божился, что он к этой истеричке и подошел-то всего раз, чтобы чутко, деликатно, по-человечески – почему, мол, не может, и тэ дэ и тэ пэ!.. Спасибо, лицензии не лишился. Мне бы увольнение не грозило, ни Черновицкий, ни Амирян, ни эта дурында в “Мед-Премиум” не посмели бы, но разнеслось бы мигом, и все – собственная клиника накроется...»

Паша втянул голову в плечи, словно ему снег упал за шиворот, – он почему-то терпеть не может мат, а потом сказал:

«Твоя бы не заявила».

А то я не знаю.

Только в субботу, когда ее снова не оказалось ни на нашем четвертом, ни на седьмом, у меня понемногу начало проясняться, что же произошло, и я, редкость для меня, даже Бога поблагодарил за то, как паче чаянья вышло.

Ведь поговори я с ней так, как приготовился, она продолжила бы ходить – и рано или поздно узнала бы про нас с Дашей, от какого-нибудь доброхота или скорее доброхотки. После того взгляда, которым она на меня смотрела в последний раз, я могу сказать: ее бы раздавило. Катком. А я, сам того еще не ведая, удалил ее подчистую. И извиняться ни капли не обязан. Операция – всегда выбор между плохим и худшим, когда выбирать больше не из чего.

Даша настаивала, чтобы я пригласил Клобукова, и не понимала, почему я увиливаю. Наконец, под ее нажимом и при ней я, скрепя сердце, «набрал» и только уповал на клобуковский дар, которым он, по идее, должен расчухать, хотя при чем здесь дар? Если он в курсе – а он, кажется, в курсе, – то ничего ей не скажет. И я больше их не увижу, ни Клобукова, ни ее. Хотя полных гарантий нет никогда, это-то мне как никому известно.

*

Я зашла в клинику всего раз – поблагодарить Екатерину и рассказать, что с нового учебного года выхожу на работу учительницей музыки младших классов. На пятый этаж я поднималась пешком и помедлила на площадке четвертого. Я стояла и смотрела в перспективу коридора, насквозь, до конца, как в проход из зеленого сиянья.

Кто-то сжал мое запястье. «Паша» глядел на меня почти скорбно, но всего пару-тройку секунд, я затем отпустил мою руку и настолько быстро, насколько вмещала его важность, зашагал по коридору прочь. Я смотрела ему вслед, пока он не скрылся за дверью своего кабинета.

Я так и не поняла, что он имел в виду.

6. Грубое нарушение профессионализма

Не приносить домой работу мы с Дашей договорились давно, но систематически нарушали уговор. Рассказывал, само собой, больше я, и не только потому что притаскивал еще из двух клиник помимо «нашей». Я люблю, когда меня слушают, – врачу это в минус, но против натуры не попрешь. Ольга слушала меня всегда с интересом, но она не медик, и ее интерес касался только людей – пациентов и коллег, характеров, отношений, даже внешности, а профессиональная сторона у нас повисала в воздухе, и за эту обделенную сторону я переживал как живое существо. С Дашей можно было не только рассказывать, но и обсуждать, и даже если говорил я один, а она молча слушала, что случалось частенько, это всего равно было *обсуждением*.

А тут я вспомнил Ольгу. Вспомнил это ее обидное для моей работы замыкание на людей. Егор пропадал на какой-то очередной секции (я даже не стараюсь удержать их в голове, да это и не моя забота, с чем Даша, слава Богу, согласна), Соня – у подруги, и я знал, что, если они захотят погулять летним вечером, она будет дома ни минутой позже девяти. Мне весь день не терпелось поделиться, точнее, обсудить с Дашей, и особенно потому, что главное я должен был от нее утаить.

«...По симптоматике типичная картина глиомы правой височной доли, причем, скорее всего, злокачественной, а проверить никак: МРТ нельзя – инсулиновая помпа стоит, ПЭТ тоже – потому что четырнадцатая неделя. Двадцать шесть лет, первая беременность, хочет сохранить ребенка. И что прикажешь делать?»

Даша пожала плечами.

«Ждать, пока родит».

Порой Дашина невозмутимость меня раздражает.

«За четыре-пять месяц представляешь, куда эта опухоль прорастет?»

«Если злокачественная. Если опухоль. Пока нет точного диагноза, о чем говорить? И вообще, что ты предлагаешь?»

Логичность Дашиного мышления тоже порой раздражает, хотя я догадывался, что раздражать меня до завтрашнего утра будет все, а завтра утром...

«Вообще я ничего не предлагаю, я мыслю вслух».

«Сорри. А зав. отделением что?»

«Что, что... То, что и ты: ждать».

Даша вздохнула, показывая, что *для нее важны мои чувства*.

«Девушке не повезло. Мы здесь ничего поделать не можем».

Трещина между нами пошла не вдруг. В конце концов, мы слишком долго «прикидывали» и «взвешивали», даже для зрелых людей со своими непростыми бэкграундами, а такое размазывание, как видно, мстит. Но основной удар нанесли, конечно, зимние праздники, точнее, Дашино предложение и мое согласие оставить Соню одну, пока мы будем в Архызе (я тот еще горнолыжник, но Даша обещала меня натаскать). Лететь туда вчетвером всего через три месяца после нашего с Соней Таиланда выходило начеисто, не говоря о том, что и я, и Даша смотрели на эту поездку как на эрзац свадебного путешествия и «семейный формат» однозначно не годился. Дашин бывший куда-то тоже намылился со своей нынешней, сына взять не мог или не хотел, так что Егора на неделю отсылали к Дашиным родителям в Тулу, что было неприятно для меня почти так же, как для самого четырнадцатилетнего парня, который потом всю жизнь будет поминать «злему отчиму» те загубленные каникулы. С Соней после Таиланда все было на первый взгляд спокойнее и легче, она нас «отпускала», но куда «отпускали» ее мы? К Ольге и ее мужу? Ольга не возражала бы, но Соня, я знал, едва вытерпливала и пару суток с матерью. Стоит им оказаться вместе, они, как и прежде, сшибаются по любому поводу, а вдобавок Соня *Ольгиного* терпеть не могла. Соня глядела на меня покорно-жалобно, а я только что не нарезал круги по потолку. Тогда-то Даша и предложила просто-напросто оставить Соню дома одну. Положиться на ее благоразумие почти взрослой девушки. Соня ее чуть не расцеловала, и я не мог отмахнуться от подозрения, что Даша Сонину благодарность, так сказать, заложила в расчет прибыли. И вообще мне что-то смутно или даже мутно не нравилось, хотя я должен был радоваться: конфликт потушен в зачатке, Дашины-Сонины отношения укрепились, мои-Сонины не подорваны. Вчетвером мы встретили Новый год (Соня перед тем встретила его с друзьями, разумеется, но искусно делала вид, что *настоящее* празднование именно это). Первого января мы проводили Егора на вокзал (я подумал, что шестнадцатилетнюю Соню не отправил бы поездом одну, но, с другой стороны, Даша мне и как хирург дает сто очков вперед по хладнокровию), а второго Соня проводила нас в аэропорт. Дважды в день мы выходили на видеосвязь, Соня каждый раз говорила, что у нее все прекрасно и что она по мне скучает, при этом выглядела счастливой, но не как дорвавшаяся до воли, в рамках своего почти взрослого благоразумия. Даша оказалась права, мы хорошо проводили время в Архызе, Соня – в Москве, но какой-то осадок все же остался, может, потому, что я позволил сделать так, как сам не сделал бы. Впрочем, то-то и оно, что я был уже не *сам*.

Праздники кончились, теперь главное было, чтоб и будни выдержали испытание и потекли гладко. При моем режиме – без выходных, но только в первую смену, чтобы с середины дня быть свободным, – мне ощутимо не хватало тех часов, которые я раньше уделял только Соне. Я поговорил с Дашей, она дала добро, и я переставил себе смены в воскресенье, чтобы приезжать в клинику к двум. Теперь первая половина воскресного дня, пока Даша на фитнесе, принадлежала нам с Соней. Мы выбирали, пойти в кафе, или каток, или, уже весной, побродить по центру Москвы, или остаться дома и смотреть фильм. Егор никогда нам не навязывался и тусил где-то со своей компанией. Для него переоборудовали так называемую гостиную, которой мы с Соней, имея по собственной комнате, раньше толком не пользовались, она была почти вдвое больше его берлоги в

Дашиной съемной квартире, и парень казался довольным, насколько подростки бывают довольными. Они с Соней друг друга, что называется, приняли. Соня изображала толерантность, Егор изображал легкое презрение, когда даже задирать неохота. Так что, кроме утренних очередей в ванную, пожаловаться никому было не на что и не на кого. Даша, перестав платить за съемное жилье, теперь помогала мне закрывать ипотеку. Она находила время и для сына, и для меня, мы с ней до сих пор любили побыть и поговорить вдвоем. Но трещина так и не заросла, причем я ее видел, а Даша нет. Видел и не понимал, почему она так упорно бросается мне в глаза. Иногда я приглядывался, не стала ли она шире, и всякий раз говорил себе, что шире не стала. А это, в конце концов, главное.

Главное... Главным сейчас было то, о чем я подумал сразу, как вырисовалась проблема, к чему возвращался весь день и что утаил-таки от Даши. Позвонить Клобукову. И я позвонил ему утром по пути в «Мед-Премиум», пока ни о чем не подозревающая Даша ехала на другой конец города в «наш» Promed. С Клобуковым мы не разговаривали с октября, с того, будь оно проклято, приглашения на свадьбу, но я решил заговорить так, словно приглашения не было и словно мы трепались только вчера, в расчете на его тонкость, мудрость, хитрость – чем там он должен был все-таки обзавестись, отмахав полвека.

«Привет! Не разбудил? Есть пара минут?»

«Нет-нет, то есть, да, не разбудил и пара минут есть... Привет, Рома».

Голос у него был странно уставший. Не тонкость, не мудрость, не хитрость – усталость, откуда она ни возмись у Клобукова, сыграла мне на руку.

«Слушай, как насчет того, чтобы помочь старому институтскому товарищу? У меня в клинике на “Белорусской” пациентка, по клинической картине на девяносто процентов опухоль мозга, а и МРТ, и ПЭТ противопоказаны: первая из-за инсулиновой помпы, вторая из-за беременности, причем еще только второй триместр, то есть ждать месяцев пять...»

«Да ведь если злокачественная!...»

Клобуков был первым, кто сказал это, не дожидаясь, пока скажу я.

«Именно. Но тут уж ничего не поделаешь, но я хочу проверить свой предварительный диагноз. Сможешь завтра подъехать я скажу, куда?»

«Ох, Рома, завтра у нас вторник?.. Я же теперь уже не ветер вольный, а как и ты – от звонка до звонка: весной сдал на аккредитацию и вот уже месяц тружусь в районной поликлинике терапевтом».

«Шутишь? Извини. Просто...»

«Не извиняйся. Ты меня в некотором роде благословил, хотя, наверное, не помнишь».

«Отчего же, у меня с памятью все в порядке. Ну, поздравляю!»

«Спасибо, поздравить действительно есть с чем, вот только цену приходится платить немаленькую. Загруженность полная. Единственный выходной – понедельник. Лаура шутит, что я музей или библиотека».

Я умею различать паузы на слух – чисто профессиональный навык – и услышал, как он осекся, упомянув сестру.

«Окей, тогда в следующий понедельник во второй половине дня».

«Увы, не могу. Почти весь день буду занят».

«Слушай, к тебе теперь и не подступись! Признавайся: на дачу собрался, матери огород вскопать?»

«Если бы огород... Да и насчет копания... – Глубокий вздох. – Я-то уверен, что он предпочел бы лежать в земле, но сыновья выбрали кремацию. – Мне показалось, что Клобуков заговаривается, и я, как с пациентами, не перебил, хотя холодок в груди ощутил – все-таки Клобуков не пациент. – На прошлой неделе скончался один мой коллега, который много для нас... для меня значил, притом что мы познакомились меньше года назад. Ему было девяносто, казалось бы, все естественно и закономерно, не то что,

например, мой отец, который... Я тебе рассказывал? Ладно, в другой раз. Так вот, сколько ни убеждай себя в естественности и закономерности, когда *это* происходит, понимаешь, что был ни чуточки не готов...

«Соболезную», – сказал я, но, наверное, вышло совсем без тепла, потому что Клобуков понял по-своему.

«Да-да, прости, перехожу к сути. Церемония в понедельник, сыновья прилетают один из Германии, другой из Штатов, а я кто-то вроде душеприказчика, то есть не буквально, конечно, но, так или иначе, я должен их встретить – один рейс ночной, другой утренний, – отвезти на такси к крематорию, а потом прощание и поминки...»

«Все понял. Если я заберу тебя где скажешь часа в два?..»

Клобуков снова тихо охнул, и мне начало казаться, что он ищет увильнуть.

«И... И что нам предстоит на “Белорусской”?»

«Как что? Ты ткнешь пальцем, и я пойму, прав я или ошибся в предварительном... Стоп, стоп, ты же не думаешь, что я вот так, без визуализации, без снимка, просверлю череп там, куда ты ткнул?!»

«По правде сказать, это я и представил. – Клобуков невесело хохотнул. – Хорошо, а смысл-то тогда в чем? Ты же сможешь на основании моего тыка поставить официальный диагноз, а соответственно и медикаментозную терапию назначить, пока суд да дело. Кстати, от химии она все равно отказалась бы – из-за ребенка, ну да это не имеет значения».

«В общем, ты отказываешься помочь?»

«Кому помочь? В чем? Одно мне скажи: если мой палец подтвердит твое подозрение, вы выиграете хоть немного времени? Выиграете у опухоли?»

«Разумеется, нет». – Я даже опешил от такой неклобуковской глупости.

«Ага, стало быть, речь идет, называя вещи своими именами, об удовлетворении твоего профессионального тщеславия?»

«Называть ты умеешь», – не нашелся я, за секунду перебрав и отбраковав все варианты ответа.

«Тогда уволь».

По его тону, мягкому и уверенному, мне показалось, что он все для себя решил с самого начала.

Я стоял в пробке на третьем кольце. С теми запланированными на Клобукова двумя минутами произошло то же, что обычно происходит с моей дорогой от дома до клиники. Мы встали намертво, но тем и отличается разговор от трафика, что почти всегда можно перестроиться в другой ряд и выиграть.

«Вот ты говоришь, сколько ни убеждай себя в естественности и закономерности, сколько ни готовься, оно все равно бьет наотмашь. Нас чему учили? Что бывают ситуации, когда *медицина бессильна*...»

«Ага, Котов на это особенно напирал: главная фраза, которую должен уметь произносить врач...»

«...мысленно и вслух: “Это тот случай, когда медицина бессильна”. Да, Котов, старичок, – он у нас что читал? Внутренние болезни?»

«Патанатомию».

«Надо же, все помнишь, а я стал путаться... То есть, возвращаясь к бессилию медицины, – это, выходит, тоже естественно и закономерно, тогда почему, спрашивается, я и через двадцать лет каждый раз не готов? Потому что это каждый раз мое бессилие, мое, а не медицины!»

«Это не естественно и не закономерно, – почти обрезал меня Клобуков. – Естественна и закономерна для врача сила, а не бессилие»

Он произнес «сила», и я почувствовал в самом этом слове силу, силу сжатой пружины, такую, что, распрямись эта пружина, меня точно отбросило бы назад, как при резком торможении. С ней я не мог не считаться и быстро отмел уже подоспевшее

ерничанье насчет Парацельса. Вспомнилось, как в тот день, когда Клобуков привел сестру, в день нашей встречи двадцать пять лет спустя, он сказал что-то о Парацельсе, и так сказал, что я не мог не принять этого всерьез, будто опять же какая-то сила взяла меня за шкуру. Хотя нет, когда берут за шкуру, обмякаешь, а я скорее уперся во что-то мягкое и неподатливое, своей силой – во встречную. И, как тогда, сдался теперь.

«Значит, я вполне естественно и закономерно ненавижу, когда ничего нельзя сделать».

«Всегда что-то можно сделать. – Я все чувствовал это упругое сопротивление. – Молиться. Ты не думай, – Клобуков примиренчески усмехнулся, – я сам это только осваиваю».

«А я читаю “Отче наш” перед каждой операцией, но последнее время больше на автомате. Вот мы с тобой оба верующие, может, ты разъяснишь мне, чего я не могу уразуметь. Девчонка с диабетом первой степени решила родить, и у нее опухоль мозга. За что?»

К моему удивлению, Клобуков не растерялся и даже не призадумался.

«Знаешь, много лет назад один человек уверял меня, что вопрос некорректен».

«Священник? Священники обычно так и отвечают: не *за что*, мол, а *для чего*. Только такое “для чего” ничем не лучше “за что”, тебе не кажется?»

«А я о другом, в смысле, тот человек говорил совсем о другом. Это трудно объяснить с кондачка... Знаешь что, а подъезжай все равно. Повидаемся. К двум – да, думаю, будет не рано, адрес сейчас скину... Если я, конечно, не очень тебя обидел, назвав своим именем эту самую вещь».

Тут было уже как раз *клобуковское*, сразу напомнившее студенческие годы, когда все, кроме меня, терпеть его не могли, а он то ли не замечал, то ли плевал. А почему я-то был исключением?

«Поработаешь врачом лет пять и тоже разучишься обижаться», – ответил я.

Клобуков засмеялся деланно, и я успел расслышать что-то вроде «тогда скидываю», а потом что-то вроде «ой-ой-ой», но я уже отключился.

*

«Я дико перед тобой виноват», – сказал Леша без предисловий.

Полуспящая, не зажигая свет и на все натыкаясь, я бежала в прихожую к своей сумке, откуда пускал угрожающие мамину сну трели телефон.

«Ну что еще?»

«Я договорился... Мы договорились... Короче говоря, к кафе, где будут поминки, подъедет Васильев. Понимаешь, я, идиот, сам предложил ему повидаться, и у меня начисто отшибло...»

«Что там буду я».

«Прости! Как меня угораздило?.. А в общем, что удивительного: голова от всего этого идет кругом... Но ни ты его не увидишь, ни он тебя, обещаю! В лепешку расшибусь!»

«Обойдемся без лепешек», – сказала я сухо по роли, хотя первая оправдала бы Лешину рассеянность.

Владимира Натановича нашла соседка, которая иногда ходила для него в магазин и помогала с уборкой, и первым делом, раньше, чем в полицию, позвонила Леше. Ни она, ни он не знали, как связаться с сыновьями, один из которых жил в Америке, другой в Германии. Леше очень не хотелось взламывать электронную почту, но тут цель полностью оправдывала средства, которыми, к счастью, располагал приятель соседкиного мужа. Леша написал Будбергам, получил по доверенности свидетельство о смерти, договорился с крематорием, заранее нашел нотариуса. Заниматься организацией погребения ему не пришлось – сыновья решили разделить и увезти прах, чтобы каждый

захоронил часть на своей новой родине, – что Лешу только огорчило: его лишали возможности отдать Владимиру Натановичу последний долг, так он говорил, а свое посредничество называл мелочью. Он сильно горевал и при этом отказывал себе в таком праве, уступая его сыновьям и принижая то, за чем скрывал свое горе.

Без малого год Леша бывал у Владимира Натановича по нескольку раз в неделю, часто со мной. Слушая их разговоры, а порой и участвуя, к чему Владимир Натанович меня всегда настоятельно приглашал, да только я не всегда осмеливалась, я вспоминала разговоры между братом и Андреем Николаевичем, в которых для меня совсем не находилось места и которые тем более будоражили. Сходство было только в одном – в Леше. Владимир Натанович, в отличие от Андрея Николаевича, если и мог называться религиозным человеком, то научно-религиозным и если философом, то натурфилософом, и скорее поклонником романтизма, чем романтиком. И уж точно не алхимиком – для алхимика он был слишком скромен. Их с Лешей беседы (когда не сворачивали сразу на темы узко медицинских; я тогда занимала себя книжным богатством, накопленным самим Владимиром Натановичем и его родителями) почти не касались христианского мистицизма и герметизма, а о древнеегипетских, античных и ренессансных практиках врачевания теперь уже брат мог поведать своему собеседнику больше, не то что пятнадцать лет назад. И если Андрей Николаевич держался немного как учитель – именно немного, потому что был и щедр, и милосерден, и тактичен, то Владимир Натанович – как ученик. Его такт и сердечность были иными, хрупкими подобно ему самому, и тоже отнюдь не только по старческой немощи. В их с Лешей дружбе старший был принимающим, а младший дающим. Но и старший дающим, а младший принимающим. Андрей Николаевич ни в чем не нуждался от тех, кому себя раздаривал, – от Леша, меня, молодых актеров, певцов и поэтов. А пятидесятиоднолетний и восьмидесятидевятилетний отражались друг в друге, один друг – в другом. Между ними была симметрия. Блаженнее давать, нежели брать, но Леша, кажется, впервые в жизни и брал, и давал, и, глядя на него там, у Владимира Натановича, я видела, что он счастлив.

Следующую неделю мы, то есть Леша, я, мама и соседка Варя, провели заочно с Будбергами в тревоге о том, дадут ли им вовремя визы. Леша готов был заплатить сколько нужно за хранение тела в морге, лишь бы сыновья смогли проститься с отцом, которого много лет навещали только виртуально, через скайп, а позже зум, правда, наперебой зазывая перебраться к одному из них. Под конец у брата развилась навязчивая идея, что Будберги вообще не получают виз и почему-то это будет ничья иная, как его вина перед Владимиром Натановичем. Я не подливала масло в огонь, а между тем боялась за него.

Наконец от каждого из младших Будбергов пришел ответ, что виза получена и он будет в срок. Всю неделю по немоу уговору каждый, как выражался Леша, квант информации передавался от него мне сразу, в любое время суток, и, вероятно, брат еще не отвык, а спал он плохо с тех пор, как вышел на новую работу. Я стояла с телефоном в руке, обмирая от неурочного пробуждения и пытаясь почувствовать все почти десять месяцев между мной и Васильевым, а чувствовала каждый день этих месяцев, потому что каждый начинался и заканчивался им.

«Условились-то мы еще утром, и я тебе не звонил, потому что весь день метался – может, пока не поздно, дать отбой, а потом все-таки решил: нет, после того как я не пошел на свадьбу, это будет уже моветон... Ой-ой-ой, я мутилище!..»

Мне показалось, что снизу поднимается столб холода и засасывает меня.

«Куда ты не пошел?»

«Я мутилище», – проныл Леша.

«Я тебя слышала. Куда. Ты. Не пошел».

«На свадьбу».

Мамин голос был хриловатым со сна; она стояла в проеме, обхватив себя руками.

«Женился твой Васильев. На коллеге. Еще осенью. Леша должен был с кем-то поделиться, ты же его знаешь, а тебе мы не говорили».

Я смотрела на свою висящую руку с телефоном, из которого неузнаваемый, ничей голос звал «алло, алло». Мама подошла и обняла меня, и я заплакала. Это были слезы, опоздавшие на десять месяцев, но еще другие – опоздавшие на двадцать шесть лет. Потому что мама не обнимала меня, когда умер папа. Мама не обнимала меня с раннего детства, с тех пор как вместо нее меня стала обнимать крестная, и я не помнила маминых объятий. Когда она обняла меня теперь, я поняла, впервые, что мама любит меня.

С пола доносились какие-то завывания. Мы одновременно посмотрели вниз, на телефон, который я выронила, – это Леша рыдал, услышав, как я рыдаю, – и одновременно рассмеялись.

*

В тот вторник я ограничился пятью минутами с пациенткой, которой загодя назначил консультацию, опрометчиво положившись на Клобукова, и давно у меня не было более пустопорожних пяти минут. Уходя, я застал ее перед фонтаном в холле (дурында Шендяпина как-то собрала специальную летучку, только чтобы внушить нам, что у нас тут *патио*, а кто упорно говорит «холл», нарушает корпоративную этику, и главное – никто даже не хмыкнул). Так вот, я застал ее в *патио*: девушка стояла и смотрела, как падают струи шендяпинского фонтана, похожего на мраморный брандмауэр. На бордюре сидел, что вообще-то запрещено, молодой человек с рюкзаком и смотрел прямо перед собой. Они смотрели в разные стороны, и она, не оборачиваясь, положила руку ему на плечо. Мне стало больно. Не погано, как после срыва на сестру Клобукова, а больно. Я подумал, что выражение «светлая грусть» всегда казалось мне фальшивым, как пьяная слеза, но вот светлая боль – это реальность. И вспомнил, что мой интерес к неврологии и нейрохирургии возник тридцать лет назад из желания разобраться с болью, разобраться во всех смыслах. А потом я узнал, что боль необходима и если бы стало возможно навеки уничтожить боль, мы оказали бы нашему организму медвежью услугу. Я люблю говорить это пациентам, произносить «медвежья услуга» особенно приятно, наверное, потому, что все связанное с медведем как-то надежно и внушительно. Болевой синдром действует как сирена, говорю я надежно-внушительным тоном, но иногда сирена срабатывает по ошибке, и тогда сама боль является болезнью, но в норме это явления разные, друг другу даже враждебные. Пациенты всегда внимательно слушают, долгие объяснения действуют на них успокаивающие, и я давно уже понял, что говорить, по сути, могу все что угодно. И тогда, может, стоит добавлять, что так называемая душевная боль, хоть она с точки зрения неврологии и не боль вовсе, и вообще абсурд, тоже необходима. Что боль бывает светлой. Впрочем, нет, это лишнее.

*

Прощающихся было пятеро: сыновья – обоим за шестьдесят, один грузный, другой, в отца, сублильный, – Леша, я и Варя. На самом деле шестеро, потому что Варя пришла с полугодовалым сынишкой в слинге, и не знаю, чего боюсь больше: что тот проснется и заплачет или что Леша не удержится от банальностей о круговороте жизни и вечном обновлении. Мои боязни не оправдались. Леша, когда сыновья предоставили ему слово, еле выдавил пару фраз, и я не к месту, но остро пожалела, что Будберги не были на презентации и не слышали его *тогда*.

На такой церемонии (слово «сожжение» я не могла произнести даже мысленно) я была впервые. И папу, и Андрея Николаевича хоронили в земле, а Андрея Николаевича еще отпевали, и потом была лития на кладбище. Все казалось странным: что гроб уезжает от нас и исчезает, что Владимир Натанович упокоится одновременно в Дюссельдорфе и в Атлантик-Сити. Если вокруг могильной насыпи можно было стоять еще долго, здесь делать было уже нечего, и мы пошли в кафе через дорогу, где Леша заказал столик.

Странными были, наконец, и поминки: Леша, я и Варя не употребляли алкоголь и заказали себе кто воду без газа, кто лимонад, а Будберги, отвыкшие от русских обычаев, взяли по бокалу красного вина. Не видевшиеся два года братья разговаривали в основном между собой. Варя, лет на пять моложе меня, начала было рассказывать мне о своих *старшем* и *средней*: одного предстояло забрать с продленки, вторую – из садика, но получалась в одни ворота игра, а тут еще ребенок проснулся и заплакал, и Варя, не смущаясь, дала ему грудь, после чего оба они замолчали.

Леша не проронил ни слова, даже со мной, и только смотрел в окно. Весь день он выглядел подавленным, и я знала, что это не только из-за церемонии, не только из-за предстоящего окончательного расставания с тем, что осталось от Владимира Натановича, а это были – даже скорее, чем прах, – и квартира, и книги, и вещи; что он все еще казнит себя за осечку и потом обмолвку насчет Васильева, которые я ему уже раз пять торжественно отпустила. С начала лета он похудел и постарел. Сказалась и аккредитация, которую Леша боялся провалить, и первый месяц работы, при его неминуемой отдаче на износ тоже выродившейся в ежедневный экзамен. «Нервностью» этой работы брат даже слегка бравировал, а об ее неблагодарности лишь проговаривался. Работа в поликлинике подкашивала его физически и истощала морально.

«Писанина душит, – говорил Леша. – Постоянно заполняешь какие-то формы, один отчет, второй, третий, как будто у тебя уйма времени, а между тем пятнадцать минут на прием – это катастрофически мало! Я не успеваю толком расспросить, вникнуть, дать рекомендации, но от меня этого, кажется, вообще не ждут – главное, подмахни направление к специалисту или на анализы, а если кто приходит вроде за консультацией, так все равно уже с диагнозом от ChatGPT. Пожаловался коллеге-терапевту с почти сорокалетним стажем, а она: тебе что, больше всех надо?»

Каждое его слово о работе походило на крошечную бомбочку, лопающуюся, брызгая разочарованием, но пятен от этих брызг полагалось не замечать. Смерть Владимира Натановича, а потом волнения из-за виз для Будбергов довершили переход от знакомого мне Леша к еще неизвестному, до конца не открытому, как последний рубеж на краю земли. Сидя рядом с Лешей на поминках, я поняла, что прежний, *мой* был героем и спасителем, а новый – такой же, как я. Тот Леша был старшим братом, а этот – просто мой брат. Того я знаю, я этого – понимаю.

Дольше часа мы не высидели. Первыми поднялись Будберги, и Леша, очнувшись, испуганно взглянул на часы. Лишь теперь вспомнив о Васильеве, я поразилась тому, что вспомнила о нем лишь теперь, и едва ли не сильнее – что увижу его, возможно, через минуту. Но через минуту я его не увидела, Леша выполнил обещание. Серебристый BMW подъехал, брат постучал в стекло и попросил отвезти Будбергов и Варю к дому Владимира Натановича – мне были подарены еще полчаса. Мы проводили машину взглядом и пошли ей вслед насколько возможно под палящим солнцем не торопясь. Держа мою потную ладонь в своей, Леша пытался, глядя себе под ноги и, кажется, импровизируя, объяснить, почему захотел увидаться с Васильевым. Я не вслушивалась и не вдумывалась. Я отмечала, что осталось уже десять, уже пятнадцать минут, и когда истекут они все, выгаданные для меня Лешей, когда сгинет последняя секунда последней минуты, сгинут и почти десять месяцев, и я окажусь там, где поставила на паузу себя, Васильева, само время. Там, куда так хотела вернуться и не знала об этом, слишком веря, что вернуться нельзя.

Вдруг Леша остановился, словно тоже лишь теперь что-то вспомнил, и посмотрел на меня с не узнающим удивлением:

«А хочешь, езжай домой, – и, проникшись своими словами, сразу *прежний*: – Что я, один, что ли, не управлюсь?! Точно! Езжай домой!»

Теперь уже я смотрела себе под ноги, но стоя как вкопанная. Последний раз я стояла так перед турникетом в одной из трех клиник, помнила, что я стояла, но не

помнила, как он выглядел, и зачем-то я пыталась увидеть тот турникет, пока меня не осенило, что он был невидимым.

«Ну ладно, – мягко сказал Леша и так же мягко сжал мою ладонь. – Идем».

И мы двинулись дальше.

Сполоснув в ванной лицо, я сразу прошла на кухню. Чайный сервиз Ленинградского фарфорового завода надо было хорошенько отмыть от наслоений пыли и упаковать для перелета через океан. Этим сервизом мы с Владимиром Натановичем часто любовались вместе, когда он просил меня распахнуть створки буфета, словно какой-нибудь сокровищницы. Под чаепития использовались ширпотребные кружки, их я хотела попросить у Будбергов одну для Леша, одну для Вари, одну для себя. Мои руки и вода из крана оглушали меня. Я сосредоточилась на том, что делаю, но вот последний предмет был вымыт и вытерт. Я закрыла кран и почувствовала не засасывающий снизу столб холода, а острое холодящее дуновение внутри. За стеной звучал высокий братний голос, голос пониже – Евгения Будберга. Я знала, что он в комнате, я засекала его, проходя через прихожую, но тот голос, о котором трудно сказать, высокий он или низкий, из среднего регистра норовящий уйти то вверх, то вниз, голос рок-вокалиста, как я прозвала его для смеха и для радости, тот голос не слышался, и это была мука. Чего я не представляла, так это что не слышать и не видеть его, когда он здесь, окажется большей мукой, чем слышать и видеть.

Сервиз вдруг стал мне ненавистен, он держал меня за стеной от него, и я уже собиралась вылететь хотя бы в прихожую, когда старший из сыновей – Олег, похожий на отца, – вошел и встал у двери, нерешительно улыбаясь.

«Алексей только сейчас сказал, что вы певица...»

«Училась на певицу», – ответила я, как обыкновенно отвечала, чтобы не лгать и не лукавить.

«Папа собирал фонотеку, у него были редкие записи Шуберта, Бетховена, Малера, Женя даже присылал ему диски из Германии...»

«Да, мы часто слушали».

«Возьмите их себе», – сказал Олег тише и с тихим нажимом.

«Спасибо, – сказала я, смутившись не столько даже от великодушия, сколько от его тихости. – Вы очень добры».

Олег помолчал, наблюдая, как я заворачиваю чашку в бумагу.

«Вы пели ему?»

«Нет. Он не просил».

«А мы с братом просим, – и таким же тихим нажимом: – Пожалуйста».

Я кивнула, и чашка в моих руках задрожала.

«Что-нибудь из Шуберта?...» – то ли попросил, то ли спросил Олег.

Я опять кивнула и отодвинула чашку – разбить ее я не могла, просто дрожание стало заметным. Я открыла кран мойки на максимальный напор, отвернулась в угол и стала вполголоса распеваться, как распевалась каждое утро этих почти десяти месяцев.

*

Мы договорились, что Клобуков еще позвонит из кафе, где будут поминки. Я подъехал в начале третьего. Клобуков уже стоял на обочине под руку с женщиной, и я не сразу узнал его сестру. Она была в прямом черном платье без рукавов и черных лодочках. Волосы у нее с тех пор отросли и падали по плечам. «Красивая», – выскочило в голове как на табло.

Едва я подрулил, Клобуков с этими его ошалелыми голубыми глазами забарабанил в поднятое при работающем кондиционере стекло. Я открыл ему дверцу, но он только просунул мне под нос телефон.

«Будь другом – отвези по этому адресу! А я туда своим ходом».

Не успел я опомниться, как в машину залезли не иначе как те самые заграничные сыновья и еще баба с грудным ребенком. Отчего-то раздосадованный, я рванул так, что пассажиров качнуло, тут же извинился, но ребенок уже заплакал, и мать стала укачивать его с пронзительным шипением. Мужчины сидели благоговейно прямо и нарочито молча. Вначале я подумал, что на них подействовало прощание с отцом, потом предположил, что они или давно отвыкли от этих детско-материнских звуков, или даже не пробуют их перекрикивать, и наконец, пару раз поймав их взгляды, стал догадываться, что Бог его знает почему, но причина окаменения – я. Как только и плач, и шипение стали тише, один из братьев подался вперед и произнес с легким акцентом:

«Простите, но я не могу не сказать, какая для нас огромная честь, что вы выкроили время...»

«Да, да! – подхватил второй. – При вашей занятости! И само знакомство огромная честь!»

Я насторожился, чуя какую-то клобуковскую каверзу.

«Вот как? Огромное спасибо, я чрезвычайно тронут, но тут, кажется, недоразумение».

Теперь они насторожились, почуяв, как видно, то же самое.

«Алексей вам как-то меня отрекомендовал?»

«Ну естественно! Как своего друга», – ответил один.

«Прославленного российского нейрохирурга», – дополнил второй.

Я прыснул. Мамаша, то ли сообразительная, то ли просто смешливая, – тоже, оглушительно перейдя от «ш-ш-ш» к «пф-ф-ф». Задние пассажиры переглянулись с обиженными улыбками. Я быстренько подтвердил, что являюсь нейрохирургом, и до конца поездки успел немного растормошить братьев болтовней, благо в Штатах стажировался, а в Германии бывал на конгрессах. Мамаша все-таки нет-нет и поглядывала на меня, прикрывая рот ладошкой.

На месте мы были через пятнадцать минут. Я оценил и простил клобуковское нахальство: действительно, тут у нас гипертоник и астеник, пожилые по стандартам ВОЗ, кормящая мать и младенец, и зачем им получасовой марш по солнцепеку, если есть прославленный нейрохирург на колесах? И сразу же вспомнил черное платье и непокрытую голову клобуковской сестры. А вот ее имени вспомнить не мог.

Женщина оказалась соседкой по лестничной клетке, у нее был ключ от квартиры покойного, и она впустила нас, но с нами уже не пошла. Сыновья явно были здесь впервые. Они стояли, осматриваясь, так же как и я, посреди единственной комнаты и, наверное, думали то же, что и я: неужели *такие* еще остались? Здесь было прохладно – книги на подоконниках заменяли ставни, а на первый взгляд казалось, что и стены. Здесь сроду не делали ремонт. За долгие годы вещи сюда только попадали, но обратную дорогу не находили. Я узнал тахту из 70-х, телевизор из 80-х, компьютер из 90-х, шкафы предположительно из 50-х, темно-красные, лакированные, поискал глазами письменный стол из 30-х, «профессорский», с массивными тумбами и латунными ручками на ящиках, но не все коту масленица: стол был офисный – пластик и ДСП, типичный для врачебного кабинета лет двадцать назад, я сам в начале своей карьеры сидел за таким. На придвинутом к столу офисном же поцарапанном стуле громоздились две подушки и толстенный словарь – вряд ли покойный был настолько мал ростом, скорее имел проблемы с позвоночником. Снять эту конструкцию и усесться ни один из нас не решался. К тягостному молчанию у меня чисто профессиональная ненависть, так что я, ухватившись глазом за семейное фото в шкафу, откомментировал его, потом перепрыгнул на бронзовую голову какого-то мужика, спросил, каслинское ли это литье, хотя могу отличить бронзу от чугуна, и пошло, и пошло. Братья начали вслух наперебой узнавать какие-то вещицы, брать их и вертеть, а я, тщетно давя злость на Клобукова, занялся обзором книжных полок.

Клобуков с сестрой появились минут через десять. Она сразу шмыгнула из прихожей в ванную, а на меня, застав со справочником нервно-психических расстройств 39-го года издания, наскочил красный и мокрый Клобуков:

«Тут прорва книг по медицине! Есть раритеты! – и громким шепотом: – Попроси себе что-нибудь – светилу не откажут!»

Я только зыркнул на него, а тот уже окучивал сыновей покойного. Сестра быстро прошла у меня за спиной через прихожую, и вскоре оттуда, где она пряталась, очевидно, из кухни, послышалось постукивание и перезвон: посуду то ли ставили, то ли убрали в буфет. Я еще потоптался возле книг, обратил внимание на стопку экземпляров одной, совсем новой в углу у окна и прочел: «Владимир Будберг. Метафизика медицины», хотел было пролистнуть, но отчего-то раздумал. Загадка, которую загадал мне Клобуков, назначив встречу и сделав при этом все, чтобы мы не могли даже словом нормально перекинуться, внушала не любопытство, а легкую тошноту и еще стыд, словно, чем дольше я здесь торчу, тем дальше глупею. Я прикидывал, свалить ли по-английски или расшаркаться, как подобает великому человеку, и тут вдруг вместо кухонного дребезжанья услышал голос. Поющий голос. Ее голос.

Она пела очень известный романс. Я не силен в музыке, но Клобуков заулыбался так, словно этот выбор что-то ему говорил.

«...В рошу легкою стопою / Ты приди, друг мой. // При луне шумят уныло
Листья в поздний час, / И никто, о друг мой милый, / Не услышит нас».

Один из братьев – я не заметил, когда он ушел на кухню, – за руку вывел сестру Клобукова. Получилось эффектно и даже как-то чересчур: будто отец ведет к алтарю дочь, да не просто, а дочь на ходу поющую. Наверное, из-за этого чересчур она и смотрела в пол. Или из-за чего другого.

«Папа любил Шуберта», – шепнул мне другой брат.

Она допела и стояла с розовым лицом, но ей даже шла эта розовость. Луиза?.. Нет. Лана, Лара?.. Лаура! Я еще вслух удивлялся год назад, с чего вдруг у сестры Клобукова армянское имя, а Паша обозвал меня «деревней» за Данте, что ли, чью биографию я должен был досконально знать, правда, как по мне, итальянское имя – загадка не меньшая. Это было перед операцией... а потом я осматривал ее шрам. Сейчас у нее – от природы, не от краски – золотистые волосы падали на плечи.

Мы поаплодировали. Она вымученно улыбнулась, слегка поклонилась и ушла на кухню, как за кулисы.

«Им сегодня надо к юристу, – сказал Клобуков. – Выручишь, подбросишь?»

«Когда?»

Ответ я знал.

«Лучше бы поскорее».

«Окей. – Я улыбнулся. – Молодец, не даешь ее в обиду».

У все еще распаренного Клобукова шея стала краснее, а лицо, наоборот, побледнело немного и как-то опустилось, хотя он и вообще осунулся с прошлого лета. Во многом я понимал его. Понимал, каково надирать пупок в госмедучреждении, каково потерять близкого человека, каково всю жизнь быть старшим, правда, у меня не сестра, а брат. Но в чем-то главном – ох уж это главное – я совсем его не понимал, и меньше всего в том, что это главное из себя представляет.

Почему-то я медлил уходить. Теперь, когда Клобуков развязал меня, я почувствовал, какой груз наконец-то сбросил и оставлял в этой старой сырой квартире, где все еще находилась его сестра. Но я стоял, словно, наоборот, потому и не могу уйти, что оставляю здесь груз.

«На, возьми. – Клобуков протянул мне книгу из стопки в углу. – Это не я дарю, а он. Поставишь в конце концов на полку как сувенир».

«Я почитаю», – сказал я укоризненно, именно потому, что Клобуков поймал мою мысль с полечным.

Я стал было листать книгу, но заметил, что сыновья покойного уже призывно смотрят с порога. Вдруг Клобуков обнял меня, похлопал по спине и отпустил. Из-за книжки я даже не смог ответить на его объятия и не успел оглянуться, как худющий Клобуков ненароком вытеснил меня и тех двоих, по ходу что-то говоря им и пожимая руки, сначала из комнаты, потом из квартиры, – оглянуться на дверь кухни, за которой теперь исчез и он.

*

Каждое утро начиналось с распевки. После четырехлетнего перерыва после ковида я вернулась к тому, что для вокалиста такая же несознаваемая неизбежность, как чистка зубов. Можно пренебречь завтраком, но раз уж проснулся – разбуди голос.

На Караева я вот уже месяц работала одна, без Леша, а значит должна была получить вдвое больше, но с первого сентября, *если ничего не сорвется*, как трепетно оговаривалась мама, печати останутся в прошлом. Первого сентября меня ждали младшеклассники, которым я буду прививать основы музыкальной культуры. Когда зимой, уже отчаявшись, я пришла на очередное собеседование и получила-таки эту «нервную» работу, мне казалось, что я заново родилась. Я начинала сначала, при этом не чувствуя себя Сизифом: как в песне, «все на свете было не зря». Я сожгла за собой мосты, потому что те были временными и отслужили, но оставила их чертежи на память. И вот теперь медленно, день за днем я понимала, что не хочу работать в школе, не хочу прививать основы музыкальной культуры, не хочу никого ничему учить, даже пению. Я хочу петь.

Наверное, тогда же, когда впервые запела, я поняла, что голос, которым я пою, – не часть меня. Частью меня был голос, которым я говорила и заикалась, а поющий – нечто вроде импланта, вживленного мне, но ненадежно-самостоятельного. Он был мне дан. Дан во спасение. Я пела для других и для себя, но даже наедине со собой никогда не чувствовала, что пою – я. Пела та, чье существование имело смысл, и временно мы с ней сливались в одно, она одалживала мне себя, а потом забирала. И когда *та* меня покинула, как я думала, насовсем, когда была отозвана, я знала, что не имею права жалеть. Екатерина предупредила, что голос никогда не вернется в полном объеме, тем сочувственно-строгим тоном, каким врачи сообщают о «плохом», а у меня камень свалился с души. За четыре года я успела привыкнуть, что теперь одна. Без *той*. Без голоса. И понять, что могу быть одна.

В день прощания с Владимиром Натановичем все перевернулось. С первых нот «Серенады» я почувствовала, что пою я. И всегда пела я. Никакого испуга, шока, потрясения, откровения. Не как у человека, впервые увидевшего себя в зеркале, а как у человека, посмотревшегося в зеркало впервые за много лет. Я не совершала кощунство, присваивая «данный» мне голос. Я только осознала, что он дан *мне*.

Когда Олег Будберг не без театральности вывел меня за руку из кухни, точно преобразившуюся Золушку, я думала не о том, кто меня видит и слышит, кого так страстно хотела видеть и слышать несколько минут назад. Я думала одно: как просто петь, если есть голос. Как хорошо петь, если есть голос. Пусть такой, как сейчас, уполовиненный по сравнению даже с тем немногим, что было когда-то. Тогда, когда я считала его чужим в себе. Мне было мало дано, и я потеряла даже то, что имела, и вот я имею больше того, что потеряла, потому что имею, имею, оно принадлежит мне.

Уже в следующее мгновение я вспомнила о Васильеве и испугалась, смогу ли дальше, – и тут же за тем испугалась своего страха, что не смогу дальше, но страхи были страхами, а пение пением. Я пела, а когда закончила, на миг подняла глаза, поймала взгляд Васильева, не выражающий ничего особенного, взгляд того, кто хлопает артисту, потому что артистам хлопают. Я исполнила просьбу сыновей Владимира Натановича, спела как бы для него – и с чистой совестью ушла на кухню. Потом я ругала себя за то,

что не вернулась в комнату прежде, чем Васильев ушел. Можно было смотреть на него, как в клинике; я выдержала бы и ничего не потеряла. Я могла смотреть на Васильева и не умирать, могла петь. Не так: я хотела смотреть на него, не умирая, и хотела петь. Мне не нужно было больше ничего, и этого хватило бы до самого конца.

Но как я знала, что, сколько бы ни травила брата разочарованием поликлиника – все есть яд и все есть лекарство, дело только в дозе, – он не уйдет оттуда, не станет вновь мастером печатей и пропагандистов гомеопатии, так же я знала, что, как бы ни сводило душу при одной мысли об учительстве, первого сентября выйду на свою новую работу и, сколько смогу, буду учить. Меня хватит на это до самого конца. Почти пять лет назад, когда я потеряла голос и с ним уроки, мама ради приварка к пенсии стала наниматься няней, и все равно мы еле вытягиваем тарифы на ЖКХ, при том что уже давно покупаем продукты только по акции, а недавно мама принесла несколько пакетов крупы и сахара и убрала их в шкаф с такой горькой тишиной движений, что я поняла: это гуманитарная помощь. Как бы мне ни хотелось превратиться в любовь и пение, я не подведу маму и не погублю нас.

Я расставляла на полке диски Владимира Натановича, попутно стирая пыль со своих, которые покупала в годы учебы и некоторое время после. Вот Якоб Преториус Младший, «Von allen Menschen abgewandt», орган – Леон Бербен, вокал – Бритта Шварц. Этот альбом я купила в ту пору, когда репетировала «Осируса» с Андреем Николаевичем. Мы с ним оба любили барокко, и в «Осирусе» имитировался стиль раннебарочной оперы, прежде всего, разумеется, Монтеверди, но мне ближе были немецкие композиторы-протестанты: Шютц, Букстехуде и малоизвестные, сочетание органа и вокала.

Я вытащила из коробочки диск и поставила в дисковод ноутбука. Больше людей сейчас играет на виоле де гамба, теорбе или клавикорде, чем делают то, что только что сделала я. Von allen Menschen abgewandt. Отвернувшись от всех людей. Так я прожила всю жизнь – отчасти как хотела, отчасти как боялась.

Позывной телефона спикировал на Magnificat primi toni, точно хищная птица. Это был брат, и я не могла сбросить звонок.

«Чудны дела Твои, Господи, – начал Леша, сам того не ведая, в лад. – Звонил Евгений Будберг. Они решили выделить мне треть суммы от продажи квартиры! Это несколько миллионов! Бог мой, да я наконец-то отправлю вас с мамой!..»

«В Гонолулу. Ты прежде всего о себе подумай. Живешь ведь и впрямь на мышиных правах у этих дематериализовавшихся соседей, а так снял бы однушку».

«Вот еще! Миллионы, милая моя, надо не проедать, а вкладывать! Перезапустить, что ль, издательство?.. Блин, сколько возможностей сразу, я прямо какой-то эмир Бахрейна!»

Трехлетка ты, а не эмир, чуть было не сказала я без осуждения.

«Если некуда девать, одолжи Роману – ты говорил, он вроде мечтает открыть свою клинику».

Брат помолчал испытующе-опасливо, я помолчала в ответ. Когда в день прощания мы остались наконец вдвоем, я не дала ему понять, что срок давности истек и теперь надо делать вид не будто бы не было никогда никакого Васильева, а будто бы не было никогда никакого срока давности. Теперь подоспел повод.

«Я вот о чем подумал... Как тебе такая идея... – Зная, что такое идея, когда о ней говорит Леша, я мысленно продолжила: международное, нет, всемирное общество Парацельса с центром в Москве. – Открыть сберегательный счет на Анино имя».

«Плохая идея».

Я пожалела о сказанном сразу, представив Лешино лицо таким, каким оно было, когда он смотрел в окно на поминках. Почему перед всеми я тушуюсь и только с братом бываю резкой? Не потому ли, что он только вздыхает на мои зуботычины. И теперь Леша вздохнул как-то по-стариковски смиренно перед тем, как заговорить о другом.

«Черновицкий к себе зазывает. Грозится специально под меня вакансию создать».

«Ну и переходи!»

«Есть причина, по которой я в его клинику больше ни ногой».

«Господи, неужели из-за меня и Романа?»

«Только из-за него, без тебя. Помнишь, моя способность, ну, выявлять...»

«Конечно, помню, но ты говорил, она пропала».

«Пропала-то да, но... Нет, прости, не готов еще все выложить».

«Как тебе удобно», – сказала я от чистого сердца: незаметно (хотя почему – ведь я заметила) Леша вместо меня стал слабым звеном нашей до сих пор, хоть и прошло двадцать шесть лет, осиротевшей семьи.

«А может, просто положить эти деньги в банк под проценты и жить как рантье, что думаешь?»

«Думаю о том, как надолго хватит этот барской жизни».

«Правильно. Я всегда считал тебя из нас двоих умнее, с самого твоего рождения. Ладно, пойду, что ли, посплю – ночью не довелось, – может, увижу какую-нибудь периодическую табличку, в которой вся моя жизнь рассована по ячейкам, или какой-нибудь римский консул покажет мне вращающиеся небесные сферы».

Леша пошел бороться за сон, но только я сняла Преториуса с паузы, телефон звонил опять. Незвестный номер мог быть одного из Будбергов, и я нажала зеленую кнопку.

«Алло, Лаура?»

Он произнес мое имя. Как будто иностранец, эмир Бахрейна, – только что выученное русское слово.

«Да, я вас слушаю», – ответила я автоматически, как автоматически продолжала петь при нем «Серенаду».

«Я должен извиниться перед вами. За тот эпизод. В коридоре».

«Не стоит», – сказала я и подумала: это тоже автоматически или я на самом деле считаю, что ему не за что извиняться.

«Нет, стоит, уже хотя бы потому, что я сказал вам неправду. Никто над вами не смеялся, то есть в масштабе всей клиники, да и вообще никто. У меня была тяжелая операция, я был на нервах...»

«Понимаю».

«Вы имеете полное право не понимать, потому что никакая операция, никакие нервы меня не извиняют».

«Тогда зачем вы их упоминаете?» – воспользовалась я правом прежде, чем осознала его – или чем вспомнила, кто я и кто этот человек, которого про себя по-прежнему называла Васильевым, чтобы не быть испепеленной.

Он недоверчиво засмеялся.

«А ведь действительно, зачем? Знаете, мы часто говорим что-то просто потому, что так принято. Принято, например, объясняться и оправдываться».

«Извиняться», – сказала я, и мне стало легко и страшно, будто я полетела.

Неужели я говорю с ним? Неужели он говорит со мной? Нет, мы не разговариваем, мы летим. На земле мы бы не смогли говорить друг с другом, а значит мы оторвались от нее.

«Я не извиняюсь, а прошу у вас прощения», – сказал Васильев, как человек, привыкший быть правым.

У него получилось. Я почувствовала себя виноватой и испугалась, что сейчас рухну на землю, но продолжала лететь. Я могла петь, могла лететь и не умирать.

«Я не хотела вас обидеть, – сказала я, насколько смогла, без выражения. – Задеть – да, но не обидеть».

Он не засмеялся, чего я ожидала, а просто перешагнул.

«Спасибо, что спели. Это было так трогательно – проводить умершего песней, которую он любил. Я вот не понимаю, для меня здесь какая-то тайна: как один человек

может что-то, чего не может другой, петь, например, или изображать эмоции, характер так, что перед тобой возникает другая, не та, которая здесь и сейчас, – я имею в виду актерское искусство...»

Для меня тайной было, как он может становиться попеременно то светским, то простым, то воздушным и тонким, то тяжелым и грубым, то пропускающим свет, то непроглядным. И я подумала: открываясь, он на самом деле закрывался, а закрываясь, открывался. Значит сейчас он для меня закрыт. А значит и я пока закроюсь.

«Ну, способность к пению – чисто телесная характеристика. Как и способность танцевать. Это я должна вас спрашивать, почему у одного человека есть слух и голос или особая природная гибкость, а у другого нет».

«Тут вы ошибаетесь: нейрофизиология пока не в силах раскрыть причину одаренности, даже такой, как вы говорите, чисто телесной, хотя что, в конце концов, значит «чисто телесная»? Мозг – это тело, стало быть, и психика тело, и...»

«Душа – тоже тело. А брат любит цитировать алхимиков насчет того, что материя – тоже дух».

«Кстати, как он?»

«Держится».

«Рад слышать. Он показался мне утомленным. – Это было слишком по-дамски даже для *такого* Васильева, и он сам себя одернул: – Мягко говоря. Выжатым. Н-да, работа в госмедучреждении – это, знаете, не курорт. – Его уводило не туда, мы чувствовали это оба, и оба – что еще не время снижаться, что рано идти на посадку, что, наконец, лучше разбиться оземь, чем мягко коснуться ее, нет, это чувствовала лишь я – или не только я? – Может быть, встретимся?»

Он произнес «Может быть, встретимся?», и это опять звучало как на неопробованном языке, хотя нет, теперь уже я была иностранкой, страшнейшей не понять простых слов. Ребенком, боящимся, что его толкнут, если он сдвинется с места.

«Вы имеете в виду, чтобы мы с Лешей пришли к вам?...»

Я говорила и видела его кабинет, белое кресло, в которое я села бы, а Леша встал бы, прислонившись к стене, видела то, с чего все началось.

«При чем тут, прости Господи, Леша. Мы с вами. Я имею в виду, мы с вами, может быть, встретимся?»

И со мной случилось то, что должно было случиться полжизни назад, что, вероятно, случается с девушкой, когда ее впервые приглашает на свидание парень, в которого она влюблена. Мне захотелось визжать и прыгать. И я почувствовала, как визг пробивает мое горло, вынося вверх, наружу, точно песок и щебень, последнюю боль и тоску, неслышный, неистовый в своей очистительной чистоте.

«Алло, алло!...» – добивался Васильев.

«Да, да!» – выкрикнула я.

«Вам удобнее в субботу или в воскресенье?»

Он и помыслить не мог, что я мастер печатей на дому.

«Мне все равно».

«Тогда в воскресенье. Знаете “Мед-Премиум” на “Белорусской”?»

Мне хотелось, чтобы он еще раз окликнул меня «алло, алло», и, прежде чем ответить, я два раза подпрыгнула и еще покружилась, в одну и в другую сторону.

7. Не услышит нас.

Отцу на протяжении десяти лет снятся сны с одним и тем же героем – прапорщиком времен Первой мировой. Каждый раз, когда я бываю дома (почему-то, думая об отце, я всегда называю Магнитогорск «дома», хотя отъезд из этого города – лучшее, что со мной до сих пор произошло), он тешит меня очередной захватывающей серией, причем всегда подводит к тому, что прапорщик, несомненно, существовал и,

видно, неспроста избрал теперь каналом трансляции своей жизненной повести его сны. Отец человек более чем адекватный, и подозреваю, что на самом деле он сочиняет эпопею по меньшей мере в голове, а то и в ноуте, просто стесняется признаться. Так или иначе, мама, пока была жива, уговаривала его записывать похождения бравого прапорщика в тетрадку. Если она не подозревала того же, что и я, то я плохо знал маму.

Я это к тому, что не придаю значения снам.

Комната, незнакомая, но – откуда-то я это знаю – связанная с Клобуковым, полутемная, чем-то уютная, коричневатый, как бы от свечей свет. Вроде письменный стол и над ним вся стена в каких-то картинках, рисунках, бумажках. Справа стоит ванна, нет, не ванна, а маленький прямоугольный бассейн не бассейн, в общем, ниже уровня пола. Сначала мне кажется, что женщина в нем – Даша, я подхожу ближе и говорю себе: да это же сестра Клобукова. Во сне я опять не могу вспомнить ее имени, помню только – на «л», зато вспоминаю слово «резервуар». Я залезаю в этот резервуар, я и хочу, и знаю, что должен туда залезть. Передо мной ее колени, ее лицо, волосы длинные, она тянется ко мне, обнимает за шею, я крепко прижимаю ее, только успеваю прижать, и сразу же кульминация, причем как мощнейший взрыв, у меня и наяву такого никогда не было, и, когда я проснулся, когда мною выстрелило из сна, мне даже пару секунд казалось, что сердце остановилось.

Я лежал на спине и глубоко дышал. Потом услышал Дашино дыхание, она спала отвернувшись к окну. Я понимал, что произошло. Произошло то, чего я боялся. После нескольких лет сомнений, перетираний, передумываний, по отдельности и вдвоем, когда мы с Дашей решились-таки, пошли на эту авантюру, как выражались между собой, немножечко отстраняясь, чтобы, так сказать, не наколоться. Когда Соня поняла меня, поняла, что мы с ней не разжали рук, просто я протянул вторую другому человеку. Когда мы все трое, Егор не в счет, только-только сняли жизнь с ручного управления, и она покатилась совсем неплохо. И теперь все разваливать? Начинать сначала? Снова-здорово в пятьдесят два?

Расстаться с Дашей значит уволиться из Promed – не работать с нею еженедельно бок о бок. Уволиться из Promed значит потерять сто штук в месяц, и если еще лет десять я заглядывался, бывало, на федеральные медцентры, то теперь там конкуренция такая, что, будь у тебя хоть золотые руки и звезда во лбу, без связей даже не суйся. Можно, правда, потеревить Стаса, но это не Клобуков, не станет он из-за меня подставляться, переходя дорогу кому-то, за кем, чего доброго, кто-нибудь покруче. Как цепляются зубами за свое место в частной практике, я сам что ни день вижу. И сам цепляюсь. Расходы сокращают, новую ставку под меня выбивать никто не будет. Ипотека не закрыта, а без Даши не закроется еще год. Между тем еще только год проработать в Promed, и уже можно более-менее прицельно думать о своей клинике. Как ни крути, в ближайшее время ничего менять нельзя.

В снах с нами не связываются давно умершие прапорщики, чтобы сделать акынами своего жития, сны не посылаются свыше. Сон может порой предостеречь, и если понял, от чего он тебя предостерегает, остается одно.

В Promed я сразу попросил администратора поднять контакты Клобуковой. Через час у меня был ее номер.

Остается одно. Сделать с точностью наоборот.

*

Аня шагала взад-вперед вдоль скамейки у подъезда. Наверное, она то присаживалась на нее, то вскакивала и начинала шагать. Я увидела ее раньше, чем она меня, и подошла первая.

«У меня ЧП», – сказала она, буравя меня взглядом.

Я указала ей на скамейку, и мы сели.

«Мне нужны деньги. Много. Сейчас. Один мой друг, близкий, мы учимся вместе, в СИЗО под следствием. За экстремизм. – Я подумала, всегда ли она, в отличие от отца, изъясняется рублеными фразами или только при сильном волнении. – Он говорит, что никаких публичных призывов не распространял, просто сделал репост видео одного чувака, а я ему: ты что, трехлетний? – Вспомнив свои вчерашние удержанные слова о Леше, я улыбнулась, и Аня поняла улыбку так, как могла понять она: – Ну да, наив. Он вообще по жизни такой, как с луны свалился. Один препод обещал за него поручиться, чтоб его до суда выпустили, но нужно еще внести залог – пятьсот тысяч. Понимаете, мне больше некого попросить. У меня здесь только вы с бабушкой и отец».

Когда она произнесла «только вы с бабушкой и отец», я ощутила, как по мне заструилась наркозом тщеславная жалость, покупаемая много дешевле свободы подследственного, и быстро привела себя в чувство:

«А его родители?»

«Его родители *далеко*. – Аня красноречиво округлила глаза. – Еще дальше, чем моя мама. Они не могут не приехать, ни такую сумму перевести. По крайней мере так Петя говорит. Он, конечно, вечно все путает... Короче, не могут, а может, не хотят, не знаю, – у них натянутые отношения».

«Кстати, к своей маме ты обращалась?»

Она была иная, чем год назад, когда у меня язык не повернулся сказать ей «ты».

«Во-первых, она такую сумму не соберет, а во-вторых... – Аня посмотрела на свои сцепленные пальцы. – У нас с ней тоже. Натянутые».

«А с отцом, значит, не натянутые?»

И слова, и усмешка вырвались невольно. Я вовсе не хотела отыгаться за себя или за брата, я всего лишь ответила так, как любая тетя ответила бы племяннице, не задумываясь о том, вправе ли. Как будто и вчера с Васильевым, и теперь с Аней предъявила какое-то только свое право, которым не обладают ни он, ни она.

«С отцом у меня нет *никаких* отношений, – произнесла Аня жестко, и от нее словно изшел некий жесткий же и ясно-пронзающий луч. – Это совсем другое».

На миг к ней вернулось то превосходство, которое год назад заставило меня сказать ей «вы», и на миг я, как тогда, смешалась. Но на миг, не дольше.

«А почему ты уверена, что у него эта сумма есть? Потому что он алхимик и умеет превращать свинец в золото?»

«Почему вы разговариваете со мной как с душой?!» – выпалила Аня.

Не как с душой, нет, сказала я мысленно. И вдруг мне стало неловко. Мне сорок, ей девятнадцать. Какие бы права ни стояли сейчас на моей стороне, слишком юные и слишком поздние, ее права, как и она сама, несравнимо крепче.

«Мне больше не к кому пойти», – сказала Аня жалобно, и на этот раз мне не показалось, что меня покупают.

«Конечно, – сказала я. – Конечно. Прости. Мы с бабушкой, к сожалению, как и твоя мама, такой суммы не наберем, – Аня глядела так, будто медленно тянула к себе веревку, и я поняла, что на нас она с самого начала не рассчитывала, – а вот твой отец... Ему, думаю, смогут одолжить. Я дам тебе его контакты, а пока идем, выпьем чаю или кофе, если ты растворимый...»

«Нет-нет, спасибо, я очень спешу! – Она вскочила испуганно, как если бы пошел отчет времени и с последней секундой чаемые деньги обнулялись. – Вы лучше дайте сейчас, то есть *вы можете сейчас* послать мне его телефон через мессенджер или смской?»

«Конечно», – только и повторила я, а потом, уже встав со скамейки, зачем-то смотрела в широкую спину этой рослой и статной девушки, в ее Лешин светлый затылок.

Клобуков позвонил в перерыве, я как раз расплачивался за кофе. Я успел и отметить, как это хорошо, что он застал меня здесь, а не в Promed, где вскоре присоединилась бы Даша, да и Пашина компания мне сейчас была бы не с руки, – и усовеститься. Не успел только до конца додумать, почему это хорошо.

«Привет», – сказал Клобуков как будто пряча подарок за спиной, но при этом тоже немного совестясь.

«Привет», – ответил я.

Отчего-то я знал, что надо дать ему время. Клобуков довольно шумно набрал воздуха в грудь и выдохнул.

«Я счастлив», – сказал он, и я по голосу понял, что он улыбается, и ответил, тоже улыбнувшись, будто он мог меня видеть:

«И я».

«Да ну! Мне дочь позвонила, я ей нужен впервые за семь лет, а ты с чего?»

«Влюблен», – сказал я и сам изумился, до чего это, оказывается, естественно: и быть, и произносить.

«А, – Клобуков как будто ожидал большего. – Да, насчет свадьбы – действительно ужасно нескладно получилось тогда...»

«Выкинь из головы».

Он молчал. Я снова дал ему время, хотя мое-то убегало – я люблю пить кофе в тишине и одиночестве, хотя даже Даша об этом вряд ли догадывается.

«Как поживает будущая госпожа министр? – Клобуков наконец воспрянул. – Соня, я имею в виду?»

«Ничего поживает, поступила в свой Университет госуправления».

«Отлично! А моя перешла на второй курс **!»

«Я помню, где она учится».

В переводе это значило «не тяни кота за что не надо, ты ведь звонишь с каким-то прицелом, вот и стреляй».

«Да-да, разумеется. Перехожу, собственно, к сути. Я все думал, думал, и что-то меня совесть заела, решил тебе помочь с той пациенткой. Когда и куда подъехать?»

Может, Клобукова и заела совесть, но как дополнительный фактор, и я с трудом верил, будто он верит, что я ему верю. Ну да это не касалось даже нас двоих, а меня одного и давно. Я сказал, что перезвоню, набрал пациентку, договорился с ней и перезвонил Клобукову, а кофе допивал уже в лифте.

На следующий день мы трое стояли у меня в кабинете, и я представил девушке Клобукова как своего коллегу из другой клиники, который «поможет решить нашу проблему». Накануне вечером и утром в пробке я припоминал наш с ним первый разговор, когда он спросил, выиграем ли мы у опухоли, если мой предварительный диагноз подтвердится, и я ответил отрицательно, и он сказал: «Уволь». Клобуков был абсолютно прав тогда и неправ сейчас, прогибаясь под мое, как он тогда, всего-навсего назвав вещь по имени, приложил, «профессиональное тщеславие». Тогда он меня убедил, так чего же ради развернулся теперь на сто восемьдесят градусов? И чего ради я не сказал ему: проехали, ты был прав, а устраиваю сегодня этот сеанс Кашпировского, этот балаган, после которого нам обоим, нет, нам троим станет погано. Ублажаю ту самую вещь? Или я просто приучил себя *хоть что-то делать*, даже когда делать нечего, нельзя, не дано.

Я бранил себя и тут же утешал, листая, как листают фото, разную Лауру, ту и нынешнюю, – на первом приеме, когда ее сопровождал Клобуков, и потом на осмотре, в операционной и в кафе, и когда я нахамил ей, и когда увидел из окна машины с братом под руку, и когда она пела. У меня даже глаза устали, хотя «пролистывал» я в уме, и я закрыл их и потер веки пальцами. И понял, что устали не глаза, а устал я сам за эти годы, работая без выходных и проводя отпуска так, как нравится Соне, а теперь Даше, ну да не их в том вина.

И вот мы стояли в моем кабинете, все трое, наверное, одинаково дичась. Я кивнул Клобукову, он приблизился к девушке справа относительно нее, попросил не волноваться и тут же приставил палец чуть ниже латеральной борозды, где-то на границе с верхней височной извилиной. Я проделал то же, что год назад: сфотографировал место, открыл программу, сверил с ней параметры. Когда я обернулся, Клобуков и пациентка смотрели на меня с одним на двоих тупым вниманием.

«Вот что, запишитесь ко мне на субботу, но не сюда, а в другую клинику, координаты я дам», – сказал я ей, а ему слегка кивнул.

Закрыв за ней дверь, я повернулся к потерянно присевшему на край стола Клобукову.

«Черновицкий про тебя знает, в смысле про “дар”, он нас прикроет. Ничего, небольшой мухлеж – запишем ПЭТ-обследование, якобы беременность, со слов пациентки, прервалась...»

«Да ты!.. Да ты рехнулся, это ж подсудное дело!»

«У нас нет выбора».

«А если я ошибся?!»

«Ты не ошибся».

Клобуков закрыл лицо руками и стал раскачиваться, и я оторвал его ладони от лица, будто унимая женщину в истерике. Ладони были мокрые и ледяные.

«Ладно, ладно, я еще подумаю! Пойдем прошвырнемся, у меня как раз смена кончилась».

Мне еле удалось поймать его расфокусированный взгляд. Я даже обхватил его за талию, на тот случай если он не оторвется от стола сам, но Клобуков мягко высвободился и вышел из кабинета вперед меня. В лифте он несколько раз провел потной ладонью по лицу, пока оно не заблестело, потом по шее, вдохнул, выдохнул и к первому этажу стал прежним, *клобуковским* Клобуковым.

Ночной ливень остудил город, жара отползла на заранее заготовленные позиции, и мне весь день, в промежутках, когда голова не была занята предстоящим «балаганом», казалось, что люди вокруг и хотят, и боятся вдохнуть поглубже. Как дышал сейчас Клобуков, хоть и не для того чтобы впрок накачать себя озоном. Мы обходили клинику по часовой стрелке, темп задавал Клобуков.

«Я, кажется, не говорил тебе, почему захотел стать врачом», – сказал он впервые после того, как закрылся ладонями.

«Ты говорил, почему *не* захотел».

«А-а. Это по-своему не менее характерно. Дело в том, что меня с детства занимал вопрос, что такое жизнь, и я думал, медики знают ответ».

«Идеалист ты наш».

«Не идеалист, а маленький, потом юный... Парацельс раскрыл мне глаза. Но только это ужасно банально, если озвучить. – Он ухмыльнулся, и у меня в голове мелькнуло: он просто не желает раскрывать тайну. – Была бы тут моя сестра, уж она бы меня уличила в банальности».

Была бы тут твоя сестра, подумал я. Клобуков покосился на меня, видно, проверяя, как подействовало упоминание, но я тоже своей тайны не выдал и небрежно пожал плечами.

«По Энгельсу, жизнь – это способ существования белковых тел».

«А по Марксу?» – Клобуков ернически заглянул мне в лицо.

Меняхватило только на кислую улыбку. И как это я мог, учась в «меде», наряду с Клобуковым хохмить мгновенно и по любому поводу – за что нас и любили, вернее, любили меня, а его терпели.

«В “КВН” была шутка: Карл Маркс и Фридрих Энгельс – это не муж и жена, а четыре разных человека», – выдал я, поднапрягшись.

«Карл Маркс и Фридрих Энгельс – это двойной Меркурий», – сказал Клобуков, показывая на себя и при этом почему-то опустив голову.

Нет, он не показывал на себя. Он остановился и смотрел на свой указательный палец, которым упирался себе в живот, а потом, не поднимая головы, склонил ее немного набок, будто прислушивался. Я смотрел ему в глаза, так широко раскрытые, что совсем прозрачные, но он меня не видел.

*

В тот день Леша передал мне привет от Олега Будберга – они только что забрали урну с прахом, – сказал, что уже взял кредит на пятьсот тысяч, и что-то про какую-то НКО и свою долю, но там, у них, грохотало уличное движение, и я не слышала половины слов.

В тот день я распевалась дольше, чем обычно, – мне хотелось побыть наедине со своим голосом.

В тот день я вышла из дома и поехала к клинике «Мед-Премиум».

В тот день начался июль.

*

Она ждала меня у магазина японских ножей. Я перебежал улицу, немного рисуясь своей юношеской трусцой. Она заулыбалась и опустила глаза, но это была не рисовка – я и вправду дал бы ей сейчас лет двадцать.

«У меня нет ни малейшей идеи, куда нам пойти», – сказал я.

«Я тоже ничего не придумала. Давайте просто погуляем».

Минут у нас было столько же, сколько ей сейчас лет. Мы шли, удаляясь от клиники, куда я должен был вернуться, шли молча, не глядя друг на друга. В тот день, из-за Клобукова, я ни разу толком о ней не подумал и даже первую фразу не заготовил, а мой «дар импровизации» отказал как на грех.

«Как называется вещь, которую вы пели? – разродился я наконец. – Что-то очень известное, но я, к стыду своему...»

Тут она повернулась и обняла меня, отчаянно и крепко. Не за шею, как во сне, а обхватила, точно ствол дерева, и прижалась щекой к груди. И я тоже обхватил ее одной рукой, а другой гладил по волосам. Мы мешали прохожим, и я немного сдвинул нас к фасаду. Она что-то произнесла, невнятно из-за наших объятий или не из-за них.

«Что-что?» – переспросил я.

«Лешин Лабуку сидит у него на столе, когда он принимает пациентов».

«Забавник», – сказал я.

Она еще ошутимо подалась назад, и я расслабил руку, которой ее прижимал. Теперь она обхватывала меня только одной рукой, а я одной рукой обнимал ее за плечи, и мы снова могли идти, пока не кончится время.

Москва, осень 2025 – весна 2026